

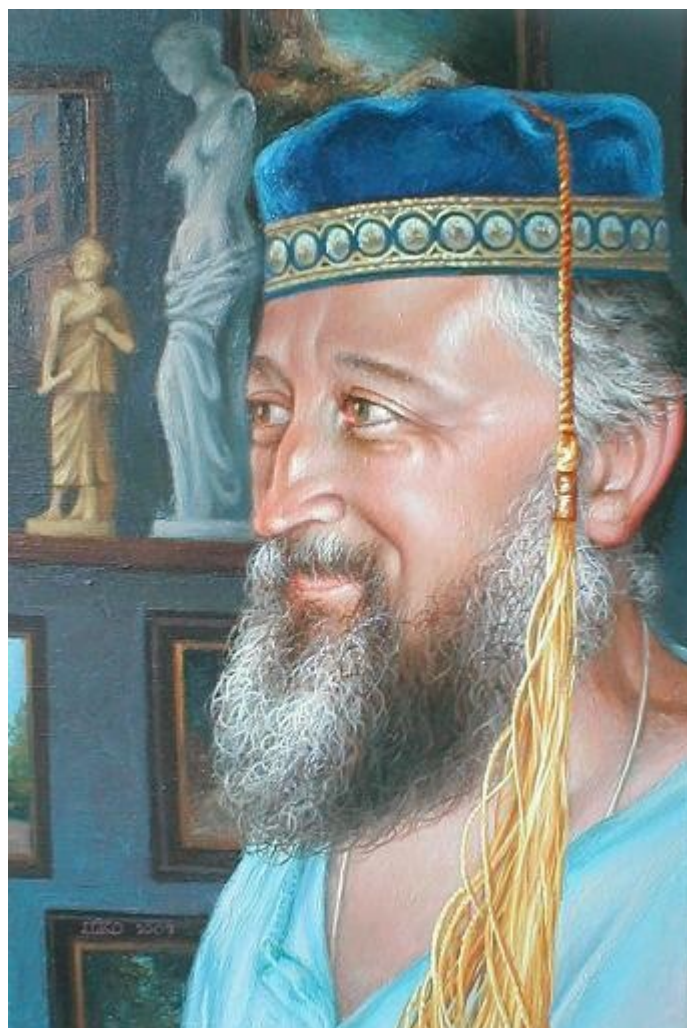
И. Ю. КОБЗЕВ

Русский графоманЪ

(Роман в себе)

České Budějovice

2011



**Портрет Автора кисти Артиста,
2007 г., холст, масло.**

С любовью ко всем, о ком пишу

Автор

Какой же русский не любит быстрой езды? – Ну вот я такой русский. Не люблю, когда машина едет быстрее восьмидесяти километров в час. Я тогда не воспринимаю пейзажа и думается мне плохо. А я люблю думать и умею это делать, чем может похвастаться далеко не каждый задумчивый человек. По этой же причине я не вожу машину. И понимаю, почему никогда не водил машину Набоков, – это мешает созерцанию пейзажа и сосредоточенному думанию.

А какой же русский не мечтает стать писателем? – Тут, я думаю, исключений нет: даже тот, кто себе в этом никогда не признавался, неожиданно для себя может обнаружить в себе эту заветную мечту. Почему это так? Ну вот не мучает же себя каждый там итальянец или француз тем, что он не писатель. Ну не писатель и ладно, зато он по другому поводу уважаемый человек. А у нас, у русских, нет этого другого повода – мы нация, проклятая литературой, такой себе огромный сочиненный и сочиняемый материк, в который вход только по паролю «Пушкин». А все эти немцы с французами удивляются: «Чего это русские так цепляются за своего Пушкина – ну поэт и поэт, да мало ли этих поэтов было и в других народах? Тот же Гете или там Байрон – никто же не делает из них способа своей жизни или кода своего бытия». А мы вот делаем и уже почти двести лет. И как народ-то изменился за эти века! Я думаю, что какой-нибудь поклонник Пушкина столетней давности и не понял бы нас, современных поклонников того же Пушкина, – языка бы нашего не понял. И мы бы его не очень поняли. Но уверен, что и он, так же как и мы, тайно лелеял в душе главную страсть литературного народа – тайный порок графоманства.

Сидит такой Акакий Акакиевич в своем офисе, на экран компьютера порнушку поместил, чтобы не отличаться от коллег по конторе, а сам тайно стучит по клавишам – роман сочиняет. Ему без этого и жизнь не в жизнь, потому что не может русский человек жить без смысла, без такого всеобъемлющего смысла, который бы в себя весь мир вместил. Как у Достоевского. Вот и ищет он этот всемирный смысл, сочиняя из слов свой мир, гармоничный и значительный, не в пример тому миру, в котором он служит, кушает и живет разным прочим образом. Меняются эпохи: Акакий Акакиевич уже не в вицмундире, а в футболке с надписью «I ♥ NY», а все тот же роман пишет. И не может этот роман быть дописанным, потому что когда это случится, кончится эта странная земля, называемая Россией. В этом заключается проклятие Пушкина, а может его благословение нашему народу. Это как посмотреть.

Вот и я стучу по клавишам, подобно шаману, бьющему в свой бубен, надеясь, что дух вызванный этим стуком, дух Пушкина конечно же, подскажет какие-то такие слова, которые наконец объяснят и мою жизнь, и мир вокруг меня, и я наконец тоже «гармонией упьюсь» и все у меня станет по «фен-шую».

Чем роман отличается от жизни? – Канализацией. Нет не той, что дурно пахнет перед дождем. А той, что упорядочивает течение событий жизни, превращая их в... в роман. Вы скажете, что канализация – это ложь? Да, ложь, соглашусь я, такая же как ложь каналов Петербурга, превращающих его как бы в Венецию. Это благословенная

ложь искусства, превращающая человека в... человека. Потому что не каждый родившийся человеком становится им на протяжении жизни. Не каждый находит ключ к своему очеловечиванию. Один из таких ключей – роман. Каждый роман это ключ к жизни человека.

Ключ... Какое слово в жизни человека ключевое? – Это слово «вдруг». Все значительное происходит именно вдруг, даже если оно было долго ожидаемо перед этим. Как засыпание всегда происходит вдруг, и мы не можем уловить тот момент, когда бодрствование превращается в сон. Так и в жизни мы вдруг становимся взрослыми, вдруг женимся, вдруг у нас рождаются дети, вдруг умирают наши родители и сами мы умираем вдруг. Мы вдруг заболеваем и вдруг выздоравливаем. И каждое «вдруг», едва возникнув, становится непреодолимой судьбой, образует биографию. Прошлые «вдруг» мы называем эпохой, историей, временем. Но начищая их до бронзового блеска, мы в очередной раз не замечаем, как наступает новое «вдруг», отменяя собою все прошлые эпохи нашей жизни.

«Вдруг» нас пугает и подавляет и с ним надо как-то жить, как-то включить его в свою жизнь, как-то приручить его абсолютную чуждость нам. Человек изобрел разные способы для этого: для верующего нет никакого «вдруг», а есть зримое проявление Божьей воли, для неверующего есть гороскопы, которые тоже отменяют всякое «вдруг». А вот для русского человека, отравленного литературой, неизбежным способом адаптироваться к этому пугалу жизни оказывается графоманство: заколдовать, заговорить, а точнее «записать» эту явь, превратив ее в роман, а себя в автора, для которого нет неведомого и неожиданного в порождаемом тексте.

Вот и я захотел грозные «вдруг» своей жизни превратить в изящные повороты сюжета. Сюжета о чем? О жизни, которая так похожа на роман, если из нее убрать лишнее и сосредоточиться на ключевых «вдруг». Итак...

Детство

... я родился вдруг, на два месяца раньше срока, во время прогулки родителей. Все случилось так неожиданно, что отцу пришлось принимать роды. Родился я в тихом переулке, утопающем в садах и заборах. Дедушка и бабушка снимали там пол-дома у хозяев. У дома был дворик, заросший кустами сирени. А за забором дворика начиналось кладбище, тоже утопающее в сирени. Это было роскошное дворянское кладбище с мраморными надгробиями и тенистыми аллеями. Потом его закатали в асфальт и сделали унылым сквером. Но тогда, в год моего рождения, аромат сирени стал самым сильным впечатлением моей жизни. Очень похоже, что я и родился-то раньше срока, чтобы не пропустить времени цветения сирени. С тех пор, весна для меня – это сирень. Это единственное время в году, когда не я покупаю жене цветы, а она тащит с базара охапку сирени для меня. Даже когда я рисую букет сирени, я чувствую его аромат, и вспоминаю свое детство в прекрасном южном городе.

Мой Город в Советском Союзе называли «столицей провинции». То есть вроде и столица, а нет, только «вроде». Это свойство Города хорошо чувствовал Чехов: его герои или уезжают в Город, или вспоминают свое пребывание в нем или получают известие из него, как из какого-то иного, ненастоящего мира. Есть в нем эта режущая глаз ненастоящность, неуместность. Представьте себе украинские садочки, ставочки, хатки и вдруг посреди всего этого вздымаются дома Васильевского острова или Петроградской стороны. А вместо Невы – сточная канава, кое-где одетая в гранит.

Таким он был всегда, мой Город, лежащий не на Украине, а на железной дороге, делающей Крым дальним пригородом Москвы.

Я прочно пришит к моему Городу своими генами – мой прапрадед был здесь купцом, торговал зерном с Англией, но чем-то обидел Парку, и его пароход с грузом затонул в штормящем Северном море, оставив его банкротом. С тех пор никто из последующих поколений рода не мог стать состоятельным человеком, а золото так вообще не могло удержаться в семье, прямо выпрыгивая из карманов, несмотря на все усилия сохранить его там на черный день. Черные дни приходили и уходили, а золота не было. Наверное Парка произнесла слова знаменитого философа Города, которого называют украинским Сократом: «Слава тебе Господи, что Ты сделал все нужное недорого, а дорогое – ненужным». Поэтому невозможность разбогатеть была компенсирована безбедностью существования нашего рода, той безбедностью, которая является фундаментом беззаботности и мечтательности. А идеалисты и мечтатели в нашем роду никогда не переводились. И я из их числа.

Моя бабушка закончила Городскую гимназию еще до революции и всю жизнь преподавала русский язык и литературу в школе. Видимо от нее у меня эта любовь к написанному слову. Мама закончила ту же самую школу – она уже была просто школой – и потом Городской медицинский институт. Во время оккупации Города немцами мама работала медсестрой в Германии, изъездила всю Европу, потом вернулась в Город, но после окончания института была вынуждена добровольно уехать на Дальний Восток, чтобы не сесть за эти поездки по Европе. А дед мой всегда спал с тюремным чемоданчиком под кроватью, потому что проходил по шахтинскому делу еще в 29-м году и был уверен, что его оправдание на том суде – это просто недосмотр Парки. Там, на Дальнем Востоке, мои родители и познакомились на сцене народного театра, где оба они играли по вечерам после работы: главная героиня и герой-любовник. Пьесы Островского и Сухово-Кобылина – это та же литературная прививка, которая не могла не сказаться на детях. После смерти Сталина родители вернулись в Город, где в год запуска первого спутника родился я.

Рай детства: весна – это кладбище и сирень, осень – это каштаны из городского парка, неподалеку от которого мы жили. Я до сих пор осенью автоматически наклоняюсь к этим маслянисто блестящим, гладким и прохладным на ощупь плодам. У меня их всегда полные карманы, я перебираю их как четки во время прогулок. Так в детстве завязываются узелки на память в той нити, что прядет Парка. Но иногда на этой нити возникают петли длиной в пол-жизни. Помню однажды я хулиганил вместе с мальчишками постарше: мы забегали в церковь, что стояла на кладбище, и стреляли там из пистолетов пистонами во время службы. Разъяренный поп бежал за нами по кладбищу, а мы упивались адреналином. Разве нас догонишь? А вот ведь, догнал, через тридцать лет догнал. Тридцать лет спустя умерла последняя моя бабушка. Не осталось никого, кто мог бы молиться за нашу семью так, как молилась она, каждый день. Вот тогда я и почувствовал, что пришло мое время заступить на этот пост. Я пошел вместе с сыном именно в эту церковь и там нас крестил поп. Хотелось думать, что это был тот самый поп, который, задыхаясь, гнался когда-то по кладбищу за маленькими сорванцами.

Еще один узелок, который, как мне кажется, имеет косвенное отношение к литературе, точнее – к творчеству вообще. Однажды мой старший брат заболел и не мог идти на улицу. Мне было очень жалко его. Мне хотелось сделать что-то такое для него, чтобы он выздоровел. Я взял коробку пластилина, вышел в скверик возле дома и из всего пластилина наделал шариков и колбасок – все, что я тогда умел. Но я делал их с такой любовью к брату, что у меня катились слезы из глаз. И когда я свои произведения принес домой и вручил их ему с пожеланием скорее выздороветь, я не

мог сдерживать рыдания. Может это и было первым моим приобщением к искусству, потому что искусство это ведь и есть творчество с любовью. А все, что не укладывается в эту простенькую формулу, не имеет к искусству никакого отношения.

Когда мне было четыре года, моему отцу предложили работу и квартиру в Сибири. И мы уехали из Города. На вокзале нас провожали дедушки и бабушки. Была зима. Все плакали. Меня все спрашивали:

- Куда же ты уезжаешь от нас?

- Это не я уезжаю, это мама и папа уезжают, - отвечал я резонно.

Через двадцать пять лет эта сцена повторилась с точностью до деталей: зима, Городской вокзал, плачущие отец и мама и мы с женой и четырехлетним сыном, уезжающие навсегда из Города. «Все возвращается на круги своя» - вдруг обнаруживается петля судьбы, узелок на которой, оказывается, был завязан многие годы назад.

Отрочество

Сибирь – это город на широкой в пол-километра Реке, которая сама всего лишь один из притоков великой сибирской реки. Парадный строй домов сталинского ампира на набережной встречает Реку, несущую из расположенных в далеком прошлом гор обещание встречи с неведомым. Город торжественно провожает Реку, втекающую под мост и пропадающую в вонючих заводских дымах будущего. Течение Реки совпадало с течением времени, которое неумолимо приближало мое расставание с Сибирью, но тогда я этого еще не чувствовал – тогда еще длилась вечность детства.

Сибирь – это зима и ночь, а если солнце, то низкое и красное в морозном тумане. Зимой нет запахов, кроме мороза, который все равно нельзя вдохнуть. И нет звуков, кроме собственного дыхания и визга снега под валенками. Зато как пьянит весна в Сибири! В приход весны не можешь поверить, пока не накатит шквал запахов и звуков и тут вдруг понимаешь, что всю зиму ничем не пахло, кроме дыма химкомбината. А тут пахнет земля, пахнет деревянная детская горка, пригретая солнцем. И запах мертвой древесины пьянит и обещает счастье. И оно приходит – это горьковатый запах цветущих тополей и вкус первого свежего салата из дикого таежного чеснока со сметаной. Город был засажен тополями и, когда они цвели, асфальт был липкий, весь в сережках и почках. Ноги сами вели по этому липкому асфальту на набережную, где взгляд питался простором и обещанием лета. На берегу до самого июня лежали льдины трехметровой толщины и медленно таяли, рассыпаясь на отдельные сталактиты. А лето было жарким и коротким – два месяца жары, кваса, окрошки и пляжа на каменистом острове напротив набережной, куда вел временный понтонный мост. Река мелела и прогревалась до температуры парного молока. Но уже в августе начиналась осень, которая обещала бесконечную зиму. И обещание свое она всегда исполняла.

Сибирь – это подлинность. Там не было полутонов: среди дворовых пацанов подлость во всех обстоятельствах была именно и только подлостью, а порядочность, так же точно, была именно порядочностью. Кроме контрастного климата это определялось контрастом населения: оно состояло в основном из освобожденных и расконвоированных из местных зон-заводов и приехавших с запада молодых образованных романтиков и авантюристов. Именно эти последние обеспечивали очень хороший уровень преподавания в школах города, где мне и предстояло учиться.

Учился я с удовольствием, но много болел и много пропускал занятий, по полугоду валяясь в больницах – у меня был ревмакардит. Поэтому привык учиться самостоятельно и много читать. До сих пор с трепетом беру в руки учебник истории Коровкина для пятого класса. Я открывал его на античной Греции и впитывал в себя эти простые рисунки карандашом – храмы, боги, герои, море и острова, тепло южного солнца. Только в холодной Сибири можно было так ярко все это себе нафантазировать. И я фантазировал так живо, что Судьба подарила мне счастье спустя тридцать лет вступить на эту благословенную землю под сень маслин и античных храмов и поцеловать это море. А тогда, в сибирском детстве, «Грецией» был американский фильм «Спартак», который мы с пацанами смотрели раз двадцать. Потом в своей дворовой жизни воспроизводили его в деталях и ходили в кровавых ссадинах от битв на мечах.

Но мы все были читающим поколением – для нас самым манящим местом в городе был читальный зал детской библиотеки, которая находилась недалеко от набережной. Там мы пропускали через себя зеленые тома Фенимора Купера, оранжевые тома Майн Рида, серые тома Жюль Верна, там мы читали Карла Мая, Рафаэля Сабатини, Стивенсона, романы о русских кругосветных экспедициях. Мы знали наизусть карту Русской Америки, которая воспринималась нами, сибиряками, как неотъемлемая часть Сибири. Потом, возвращаясь домой по набережной, мы мечтали о том, чтобы подняться вверх по Реке, войти в дикую таежную речку и построить там маленький деревянный домик, с пушечными портами вместо окон, жить там и ловить рыбу. И, как оказалось, Парка слышала наши мечты - через десять лет я вошел в свой маленький деревянный домик с пушечными портами вместо окон, который прятался в дремучей тайге на берегу быстрой речки, но «тайга» эта была расположена в центре Европы. В этом домике я вырастил своих детей и написал много всякого за двадцать лет.

А тогда мы реализовывали наши мечты в весенних лужах и ручейках, где пускали парусные кораблики. В каждой луже мы могли по памяти восстановить карту Карибского моря со всеми его островами и заливами. Это была игра, но игра, которая по смыслу слова ближе к театральной игре, нежели к простой детской забаве. Мы воспроизводили прочитанные романы в лужах. И это было так захватывающе, что занимались мы этим лет до пятнадцати, когда прохожие уже начинали на нас поглядывать с недоумением. Финалом этого увлечения стала модель парусника девятнадцатого века, которая уже не поместилась бы ни в одну лужу – ее мы пускали в заливах протоки, отделявшей остров от берега Реки. А когда поздней осенью, в октябре, протока покрывалась первым тонким льдом, мы пробирались по его прозрачной, визжащей под тяжестью тела поверхности на остров, где гарантированно оказывались робинзонами, потому что на зиму понтонный мост убирали, а других таких безумцев в нашем городе не было. И мы бродили в густом кустарнике по колению в снегу, воображая себя героями романа.

Однажды я попытался воспроизвести прочитанные романы в собственном романе. Это произошло в самом любимом мною месте моего детства. Кто-то из великих сказал, что в детстве у каждого человека должен быть свой рай, воспоминание о котором потом, когда человек станет взрослым, будет ему опорой в жизни. Такой рай был и у меня. Располагался он на высоком берегу Днепра, почти на самом обрыве на тихой улочке, не изменившей своего облика с конца девятнадцатого столетия. Древние акации и клены скрывали от полуденного зноя кирпичные особняки времен Александра Третьего. Один из них был построен для брата моего прапрадеда, который был архиепископом в этом городе. Теперь половиной дома владели мои бабушка и дедушка. К дому прилегал тенистый сад, в который выходила веранда, где я завтракал каждое утро, когда летом гостил у бабушки. А в саду среди клумб цветов стоял столик со

скамеечкой, за которым я рисовал. За этим же столиком мною впервые овладел и бес графоманства. А все из-за женского общества, которое действует на неокрепшее сознание непредсказуемым образом.

Женское общество состояло из моих двоюродных сестер, которые жили у бабушки. Старшая уже училась в институте, а младшая была на три года старше меня, и я, конечно же, был в нее влюблен как Том Сойер в Бэки Течер. И мне хотелось чем-то удивить ее и вызвать ответный интерес ко мне. Сидя в саду я рисовал каких-то красавцев гусаров и томных дам. Сестры хвалили меня, но все это было не то. И тут я решил написать роман. Такой, какие я читал, – романтический роман. Я сел за столик и прямо в альбоме для рисования накатал две страницы под словом «Роман». Там были и стройные красавцы на взмыленных конях, и красавицы с «мраморным лбом» и «коралловыми устами». Вобщем это был Роман. И сестры были в восторге от своего талантливого брата. Я плавал на волнах блаженства и пил вино женского внимания. Вдруг, однажды утром, старшая сестра вышла из своей комнаты с романом Майн Рида в руках и зачитала оттуда куски слово в слово повторявшие мой роман. Майн Рида трудно было заподозрить в плагиате, поэтому в нем сразу обвинили меня. Я был унижен и раздавлен и дал слово никогда больше не писать романов. Слово это я нарушил только сейчас, когда старшей сестры уже нет в живых, а следы младшей давно затерялись в этой жизни.

Но эта веранда и этот сад все-таки стали для меня прологом в мир литературы. По вечерам, когда спадала жара, на этой веранде собиралось общество. Именно в том самом романном смысле слова – «общество». Оно собиралось вокруг двоюродной сестры моей бабушки, которую бабушка звала «Нинетта». Грузная, отечная, на слоновьих ногах, с тщательно уложенными и заколотыми гребнем волосами, Нинетта приходила в гости, опираясь на палочку. Она усаживалась на веранде перед чашкой чая, переводила дыхание, улыбалась собравшимся и начинала рассказывать... И от ее рассказа уже нельзя было оторваться. Вы слышали когда-нибудь как рассказывает о Пушкине или Лермонтове Иракий Андронников? Так вот Нинетта была таким же рассказчиком. Причем, они с Андронниковым были из одного круга: Нинетта была замужем за бывшим камергером двора последнего императора и потом всю жизнь прожила в Ленинграде, вращаясь среди интеллектуальной элиты этого города. Она знала всех, о ком я слышал из рассказов Андронникова по телевизору. Но то по телевизору, а тут я вживую видел и слушал эту удивительную старуху. И передо мною вставали Пушкин и Лермонтов, их увлечения и приключения, светские сплетни столетней давности оживали на глазах: история расступалась и становилась жизнью живых людей. Людей из учебника литературы.

- Я долго не могла простить Иракию его уход на эстраду. Это был такой мовэ тон с его стороны, - снисходительно журила она телевизионного кумира. Это было для меня невообразимо: я – сибирский пацан вдруг нахожусь среди людей из «раньшего времени», как говорил Паниковский в известном романе. И это время никуда не делось – оно вот тут и сейчас, на веранде за чашкой чая, как это наверное было и сто лет назад, когда здесь пил чай мой двоюродный прапрадед. И мне уже казалось естественным, что на этажерке в комнате старшей сестры стоят тома прижизненных изданий Толстого и Чехова. Я благоговейно нюхал эти книги – это был запах девятнадцатого века! Вообще этот дом и этот сад стали для меня дверью в девятнадцатый век. После лета, проведенного здесь, уроки русской литературы в школе ложились на прочную основу запахов и ощущений, которые я почерпнул в этом доме.

Может быть это имело прямое отношение к тому, что когда мы с друзьями-одноклассниками шатались по городу, мы непрерывно разыгрывали какие-то сценки из русской классики, особенно часто из «Мертвых душ». Я, например, чаще всего был

Плюшкиным. Мне легко было себя представить помещиком на старой веранде того днепровского дома. Так приключенческая литература отрочества незаметно перетекала в более серьезную литературу юности.

Юность

С чего начинается юность? – С мучительного восторга перед женщиной. Как известно, в Советском Союзе секса не было. Поэтому путь к нему был тернист и чреват искусством, совсем по Фрейду. Сегодняшний юнец кликнет мышкой и погрузится в чистую порнографию, из которой уже нет выхода ни в греческую скульптуру, ни в итальянскую живопись. А мы в свое время погружались именно в живопись и скульптуру, чтобы таким образом дотянуться до женской наготы. Насыщенная эротизмом живопись привела меня в изостудию дома пионеров, куда я с удовольствием ходил целый год и даже соблазнил на это некоторых пацанов из нашего двора, которые до этого никогда не держали кисточку в руках. А потом рисование стало потребностью и способом общения с ближайшими друзьями.

Долгими зимними вечерами мы собирались у моего старшего друга Серого и с упоением рисовали то, что занимало наше воображение: парусные корабли среди тропических островов, нагих красавиц на тех же островах, девственные леса Америки с индейцами. Он как и я был поклонником греческой скульптуры и античности вообще. Кроме того он был культуристом, то есть лепил свое тело по образам Поликлета и Мирона. И торс его действительно был достоин их резца. А лицо, по контрасту с фигурой, было лицом скифского варвара. Его дядя, служивший вертухаем на зоне, говорил ему:

- Я бы тебе за одну рожу пять лет дал.

Но за этой маской скрывалась душа нежная и легко ранимая. Серый был романтиком, как все мы в то время. Играл на гитаре и пел об Атлантах, которые «держат небо на каменных руках». И его, как и меня, увлек и покорила власть дум нашего поколения, великий графоман Иван Ефремов.

Ефремов был для нас тем же, чем для поколения столетней давности был Чернышевский. Эротические сны Веры Павловны увели в революцию многих прыщавых юношей шестидесятых годов девятнадцатого века. А эмоционально сдержанные, но остросексуальные красавицы Ефремова заставляли всерьез размышлять о коммунизме нас – подростков шестидесятых годов двадцатого века. Роман «Час быка» был для нас учебником будущего. Тогда к фантастике относились как к научной футурологии. Это сейчас в ней видят сказку, да она и превратилась в сказку – фэнтези это продукт разложения фантастики. А тогда это были реальные проекты будущего. Тем более от таких мэтров как Ефремов, который в своих рассказах предсказал многие научные открытия – например, голографию. Вообще это была эпоха, когда фантастика буквально на глазах становилась повседневной технологией: полеты в космос были основным содержанием фантастики в пятидесятые годы, а в шестидесятые они стали повседневностью. Так и с коммунизмом: его моделировали Ефремов и Стругацкие, а в жизни тоже все менялось и почему бы не предположить, что действительно через десять лет эта общественная конструкция станет реальностью.

Что было фантастичного в том, что обещал Хрущев к 1980 году? Бесплатный общественный транспорт? – Так это могло бы составить лишь небольшую долю расходов на безумную войну в Афганистане в 1980 году. А бесплатная еда? – Но в шестидесятые годы хлеб в столовых уже был бесплатный, а пирожок с мясом стоил три

копейки. Квартплаты тогда практически уже не было, потому что те копейки, которые платили за ЖКХ, были незаметны на фоне зарплаты. Хрущев совершил переворот в образе жизни населения страны тем, что переселил большую его часть в пятиэтажки – выросло новое поколение (и я принадлежу к нему), которое не знало жизни в коммуналках. А как стал доступен транспорт! Мои родители – врач и инженер – получали меньше, чем неквалифицированный рабочий, но я каждый год летал во время каникул на Украину к бабушке и бывал проездом в Третьяковской галерее и в Пушкинском музее. Может ли сегодня ребенок обычного интеллигента позволить себе такое? Наша семья выписывала десяток научных и технических журналов, которые вносили свою лепту в наше образование. Стоили они – копейки. А книги? – у меня до сих пор стоит на полке ряд томов русской классики, которые мои родители получали по почте в качестве приложения к журналу «Огонек»: каждый том стоил 90 копеек! А бесплатные кружки при домах пионеров, станциях юных техников, в школах – сколько людей получили первый профессиональный и творческий опыт в них? И Ефремов в своих романах убедительно показывал, что коммунизм реален только как общество материального аскетизма, но при этом обязательного творческого развития всех. Это было приемлемо и понятно, ведь мы так и жили тогда.

Шестидесятые годы в Советском Союзе – это во многом уникальная эпоха, которая уже никогда в истории не повторится. Прежде всего это эпоха прекрасного школьного образования. Школьники реально много знали. Так, например, любой нормальный пацан в это время умел сделать порох из материалов, которые можно было купить в хозяйственном магазине и аптеке, и построить твердотопливную ракету. Любой мог собрать транзисторный радиоприемник. В эту эпоху любой знал (хотя бы в принципе) как работают те электронные приборы, которыми он пользуется – телевизор, телефон, холодильник. – и при случае мог починить их. Люди были адекватны тому миру техники, который их окружал. Поэтому не техника властвовала над людьми, а люди над техникой. И если бы и дальше инвестировалось это направление развития – качество самого человека, то коммунизм Ефремова мог бы обрести черты реальности.

И вдруг через год после выхода роман Ефремова был запрещен и изъят из всех библиотек. Мы начали понимать, что правящая элита страны не имеет к коммунизму никакого отношения. Эта догадка раз и навсегда отделила наше поколение от правящей партии, которая называлась «коммунистической». Для нас этот раскол произвел роман Ефремова, а вовсе не ввод советских танков в Прагу, как принято теперь считать. Что могут значить танки в литературной стране? А вот романы здесь определяют судьбы целых поколений. Через десять лет в одном из своих романов Стругацкие напишут: «Умный бюрократ поймет, что такое коммунизм, и с ужасом отшатнется от него».

Теперь я понимаю, что именно это и произошло в шестидесятые годы. Хрущев был последним романтиком коммунизма в правящем классе страны. И до его отстранения от власти страна и народ составляли единое тело этой утопии. А после 1964 года правящая элита отделилась от народа, а через двадцать лет и от страны. Но прежде всего она отделилась от коммунизма. И произошло это после того, как Ефремов всем объяснил, что такое коммунизм. Элита не хотела коммунизма, потому что ей там было нечего делать. Помню анекдот начала семидесятых: Никсон спрашивает Брежнева:

«Леня, чего тебе не хватает?»

- Да, вот труб для трубопроводов...

- Ладно, поставлю я тебе трубы. А что еще тебе не хватает?

- Да, вот трубоукладчиков бы...

- Ладно, поставлю я тебе трубоукладчики. А что еще?

- ...

- Ну, хочешь, я тебе коммунизм построю?»

Все уже понимали тогда, что за официальной идеологией ничего нет. Победила антиефремовская формула коммунизма, которую мы зубрили в школе: «Удовлетворение все возрастающих потребностей». Это была формула потребительского растления. Стругацкие зло посмеялись над ней в образе Кадавры, неудовлетворенного желудочно, в своей знаменитой сказке «Понедельник начинается в субботу». Именно эта формула за двадцать лет превратила нас всех в общество потребления, которое с легкостью приняло буржуазный образ жизни. Коммунистическая партия похоронила коммунизм! О том, что это был вывод целого поколения, говорит попытка коммуниста капитана Саблина совершить новую «Октябрьскую революцию» в 1975 году, когда он поднял восстание матросов на военном корабле в Риге и повел их на Питер, но был по дороге перехвачен сторожевыми кораблями и авиацией и позже расстрелян.

А как должен был поступить пылкий юноша, понявший такое? Совершенно верно – он был обречен идти тем же путем русских мальчиков – каторжников и революционеров. Я сел за стол и по вдохновению написал антипартийный памфлет на несколько страниц. По содержанию он был удивительно похож на ту листовку, которую написал молодой Ландау в 1937 году и за которую его тогда посадили: это было сравнение советской системы с фашизмом, это была попытка защитить коммунизм от коммунистической партии. Я решил повесить это свое произведение в школе на доске объявлений возле учительской. От этого меня спасла Судьба в лице моей мамы. Я забыл эти исписанные листки на столе и когда пришел домой, увидел маму бессильно сидящую на стуле с этими листками в руках. Лицо ее выражало такое невыразимое страдание, которое даже в сравнение не шло с ее страданиями, когда я в очередной раз болел. Она спросила чужим голосом:

- Это ты написал?

Я кивнул.

- Ты это кому-нибудь показывал?

Я молчал. Мне было так жалко маму.

- Ты ЭТО кому-нибудь показывал?! Ты понимаешь, что этим ты можешь перечеркнуть всю свою жизнь? Этого тебе НИКОГДА не простят. Это крест на твоей судьбе!

Я лепетал что-то успокаивающее, что это я так просто, что это ничего особенного. А мама молча рвала эти проклятые листки. Но вот что значит бес графоманства – при этом я чувствовал себя значительным: значит я могу написать нечто, за что могут посадить. Это ведь для русского писателя и есть его «Нобелевская премия». Я быстро забыл урок мамы и через пару лет снова очень неосторожно размышлял в письмах к Серому, который в это время уже служил в армии на Крайнем Севере. Я не знал, что все письма прочитываются военной цензурой и что таким образом я упорно продвигаюсь по пути русского писателя-каторжника.

Великого писателя делает великий читатель. Такой как в России. Счастлив русский писатель, потому что не переводится на Руси его прилежный читатель, пока есть в ней Тайная канцелярия, Третье отделение или КГБ. Ибо обязаны они прочитать все, что только может написать каждый русский графоман. Я иногда думаю, а не эти ли учреждения повинны в существовании нашего «литературного материка»? Ибо ничто так не губит литературу, как отсутствие читателя. А тут - читатель по долгу службы, он за чтение зарплату получает. Или просто выполняет долг перед отечеством, как Иван Кузьмич, гоголевский почтмейстер. Читает такой служака чужие письма и сообщает начальству о всех, кто тайно предается пороку мышления. Так и происходит отбор кандидатов в русскую литературу. И не иссякает ее поток, потому что каждый пишущий знает, что всегда есть в отечестве нашем кто-то, кто ждет его слова и кто

оценит его по самому что ни на есть гамбургскому счету: не в безразличие канет его слово, а за него, если повезет, реально пострадать можно.

Серый вдруг перестал отвечать на мои письма, а когда через год он вернулся из армии, я не узнал его. Казалось, что он избегает встречи со мной. А когда мы все-таки встретились, он повел меня в какую-то забегаловку, взял водки, сильно выпил, нервно улыбаясь и бегая глазами по сторонам, и только потом тихо проговорил:

- Они сказали мне, что я никогда не вернусь оттуда домой. Ты знаешь, что такое Чукотка? Там отойдешь на сто метров от казармы и пропал... Они меня спрашивали о тебе. Я сказал, что ты молодой и глупый... Может тебя и не тронут, но за тобой смотрят, учти это...

Так я получил вторую «литературную премию» в своей жизни. После чего Парка решила, что такого дурака нужно повернуть лицом к иным горизонтам, а не то он-таки сломает себе шею, не исполнив своего предназначения. Я тогда зачитывался великим дилетантом и графоманом Фридрихом Энгельсом – я не знал, что это должно быть скучно и непонятно, поэтому читал его как фантастику Ефремова. «Анти-Дюринг» мне очень понравился. Эта книга повернула меня от политики к естествознанию. А тут еще Вернадский поразил мое воображение своей биосферой и ноосферой. Это произошло во время нашего с отцом путешествия по Реке. Три лета подряд мы с ним сплавились из верховьев Реки до нашего города, сначала на плоту, связанном из пятиметровых бревен, потом на самодельной резиновой лодке, сделанной из волейбольных камер, но с мачтой и парусом, а последний раз уже на моторной лодке, в которой мы и спали, спасаясь от комаров. Отец ловил рыбу, а я варил уху и кашу на костре. И читал Вернадского. И вот тут среди дикой тайги и дикой реки я понял, что мой путь – это естествознание. Я почувствовал, что ноосфера Вернадского неизбежно выведет меня к коммунизму Ефремова, но учиться нужно именно такой биологии, о которой пишет Вернадский.

Тогда в предпоследнем классе школы я нашел в справочнике для поступающих в ВУЗы свою будущую специальность – биофизика. И университет, где обучают этой дивной специальности – Университет моего родного Города. Это был опять же перст Судьбы, потому что именно в тот год не было такой специальности в Сибирских университетах, но уже на следующий год такую кафедру открыли в Красноярске. Страшно подумать, что я поступил бы туда и жизнь моя сложилась бы иначе. Но Парка уверенно вела меня на коротком поводке. Чтобы хоть представить себе, что же такое эта самая биофизика, я купил в книжном магазине маленький сборник докладов на какой-то научной конференции. Я открыл его, прочитал несколько строк и был потрясен: все слова были знакомые, но я ничего не понимал в прочитанном. Я был подавлен тем образованием, которое мне предстояло получить! С благоговением читал я эти иероглифы и представлял себе, что и я когда-нибудь смогу написать что-то подобное. Кстати, эта книжечка сохранилась в моей библиотеке: после окончания университета она как-то попалась мне на глаза, я полистал ее и искренне удивился тому, что такая чепуха могла когда-то меня так поразить – это была типичная научная макулатура.

В своем воображении я так и эдак прикидывал на себя профессорскую мантию - закрывшись в своей комнате, часами писал что-то наукообразное в духе Энгельсовских фантазий, и все тогда казалось мне простым и ясным. Сейчас я благодарен Парке, что этой иллюзией она спасла меня от того пути, на который вступили многие мои сверстники, – от диссидентства. Ранний, хотя и заочный, конфликт с КГБ казался толкал меня на этот путь. Но миновала меня чаша сия. Об этом я подумал, когда много лет спустя в революционной Праге случайно услышал выступление Елены Боннэр на Вацлавской площади. Какая бесвкусица и пошлость позы, пустое словоблудие –

зеркальная копия болтовни маразматических вождей КПСС. Нравственное здоровье молодости заставляло меня интуитивно держаться подальше и от этих либералов и от их оппонентов - националистов.

В Сибири все сибиряки, как в Америке все американцы. Там неведом национализм, там и русские называют себя не русскими, а сибиряками. И также как в Америке очень престижно иметь в себе долю крови коренных жителей. Так мой школьный друг Художник был на четверть «индеец» - его бабка была коренная чалдонка. Это проявлялось и в его облике – немного монголоидном, и в его характере – мягком и покладистом. Он ушел из школы в художественное училище после девятого класса, а до того на уроках непрерывно рисовал комиксы: о пиратах, об индейцах, о ковбоях. Смотреть их было чистое наслаждение. Это были бумажные мультфильмы, толщиной в тетрадку. Учителя сначала пресекали это для порядка, а потом махнули на него рукой, тем более, что контрольные он у меня регулярно списывал, и тройки у него в четверти все равно выходили. По окончании училища он уехал в Москву и стал художником-мультипликатором на Мосфильме. Он рано погиб под колесами электрички, под Москвой, говорят по пьяни.

Художник научил меня пить пиво, раскрыл передо мною мир рок-музыки. Все новое в мире рока неведомыми путями появлялось у нас в городе через два месяца после того, как оно появлялось в Лондоне. И сразу же обнаруживалось у Художника. Он сам шил на швейной машинке джинсы такие, какие он хотел, и какие невозможно было купить в магазинах. Его комната была каким-то островом будущего, приближение которого мы остро ощущали, и которое нам вскоре пришлось испытать на себе. Правда, Художник до этого не дожил.

В десятом классе у нас сложилась тесная компания ребят и девушек, в которую входил и Художник, хотя он тогда с нами уже не учился. Мы собирались регулярно у кого-нибудь дома, готовили нехитрую закуску, пили портвейн, танцевали под магнитофон. Впрочем, как сейчас говорят, тусовались. Среди девушек была одна, которая безусловно была лидером среди них, а может быть во всей нашей компании. Я назову ее Суламифь. Что-то библейское было в ее облике. Она притягивала к себе без усилий, естественно, как имеющая на то природное право. Ее темные карие глаза казались требовательно вопрошали: «Ты ли это? Меня ли ты ищешь?». Я был юношески влюблен в нее. Это было целомудренное идеальное чувство: мы гуляли вместе по городу и разговаривали обо всем на свете, а главное о чувствах. Мы даже ни разу не поцеловались. На выпускном вечере мы с ней танцевали и все вокруг понимающе смотрели на нас. А мы тогда уже практически расстались, потому что она знала о моих планах уехать поступать в Университет и не хотела мешать мне в этом. Суламифь верила, что меня ждет великое будущее.

Выпускной вечер вдруг оказался для меня границей между юностью и молодостью. Так получилось, что на торжественном собрании накануне меня чествовали перед лицом моих счастливых родителей как первого ученика школы, а на следующий день меня же руководство школы называло опасным хулиганом и даже собиралось переписать мне характеристику. Но потом передумало. А все потому, что я впервые в своей жизни провел ночь вне дома. Сначала мы, как и все выпускники в Советском Союзе, пошли на набережную Реки в городской сад встречать рассвет. Выпили там портвейна. Было так хорошо, что домой идти не хотелось, и мы вернулись в школу, которая была уже закрыта. Мы влезли в окно и улеглись спать в актовом зале на столах, завернувшись в красные скатерти, оставшиеся от торжественного собрания. В таком виде нас застала уборщица, пришедшая рано утром в школу. Она и заложила нас руководству школы. Очень хотелось спать и хмель еще не прошел. Мы с приятелем пошли к Суламифи – она жила недалеко от школы. Ее мама очень удивилась, но не

подала виду и постелила нам в маленькой кладовочке, откуда наши ноги торчали в коридор. Суламифь, увидевшая нас утром в таком виде, не могла скрыть своего удовольствия – впервые мальчики ночевали в ее доме. Она накормила нас завтраком и мы разошлись по домам.

А дома меня ждал большой скандал. Телефона дома не было и родители сходили с ума, предполагая что со мною случилось самое худшее. Мне было их жалко, но и такая опека вдруг стала мне невыносима. Я отчетливо осознал, что если не поступлю в Университет и останусь дома, то меня ожидает такой же контроль и в студенческие годы. Нет, нет – прочь из дому! Через несколько дней я сел в самолет и навсегда покинул свою юность.

Университет

Город не был бы Городом без Университета. Это второй университет Российской империи. Его здание, похожее на огромную раскрытую книгу, возвышается на холме над Городом, превращая провинцию в столицу. Город свернулся калачиком вокруг здания Университета. С одной стороны от него - самая большая площадь в Европе, с другой - зоопарк. Нет наверное больше таких университетов, где на лекциях были бы слышны крики томимых любовной страстью обитателей джунглей и саванн. После таких криков взгляд невольно застывал на голых ногах сокурсниц, и мысль лектора безнадежно ускользала от внимания. Зоопарк неотделим от Университета. Лет десять назад один дотошный журналист спросил знаменитого американского физика Александра Виленкина, почему ему так нравится теория множественности миров. И тот ответил ему загадочной фразой: «Потому что в одном из этих миров я может быть все еще служу ночным сторожем в зоопарке Города». Для любого студента Университета этот ответ не нуждается в комментариях.

Я вернулся в мой Город ради Университета тринадцать лет спустя после того, как меня увезли отсюда мои родители. Стразу из аэропорта я приехал на эту необъятную площадь, над которой вздымалась громада моей мечты. Была гроза, лил теплый летний дождь, я прятался от него под бетонными башнями величественного здания эпохи конструктивизма и смотрел оттуда на здание Университета. Я был Наполеоном на Поклонной горе и так же непоколебимо верил, что ключи от этого «храма науки» вот-вот окажутся в моих руках. Но для этого еще нужно было сдать вступительные экзамены.

Я поселился в общежитии, сразу погрузился в учебники и раз в четыре дня ходил сдавать экзамены. Пообщавшись с абитуриентами я понял, что по сравнению с Городскими ребятами, закончившими спецшколы, я просто провинциальный варвар. С большим трудом я сдал экзамены по физике и математике и уже не надеялся пройти по конкурсу, который был на этой специальности довольно высоким. С таким настроением я распрощался с общежитием, веря что обязательно когда-нибудь вернусь в него, и улетел домой в Сибирь. Потянулись однообразные дни летнего отдыха, который вдруг резко оборвала телеграмма отца, бывшего в то время в Городе в командировке, – он писал, что я принят. Это было счастье! Я снова прыгнул в самолет и на следующий день вошел в здание уже Моего Университета.

Именно Университет подарил мне несколько таких «вдруг», которые и образовали круг всей моей дальнейшей жизни. Первым «вдруг» было знакомство со Стариком. Меня поселили с ним в одной комнате в общежитии еще на вступительных экзаменах,

мы вместе ходили в столовую и ездили в Университет. Старик казался невообразимо старым – ему было тогда аж двадцать четыре года! Это был маленький лысеющий человек очень похожий на Ролана Быкова. Доброты необыкновенной, но с несокрушимым чувством справедливости, которое и создавало ему проблемы в жизни. Он написал в анкете при поступлении, что вышел из Комсомола по убеждению. Но самое поразительное, что несмотря на это его приняли. Дело в том, что при всей идеологической жесткости Советской системы, она была вполне проницаема в силу противоречащих друг другу циркуляров, каждый из которых обязан был быть исполнен. Вот и Старика приняли как заводского пролетария, потому что пролетариев не хватало для исполнения плана по классовому составу студентов, а на его анкету просто закрыли глаза. И как потом оказалось – напрасно. Старик никогда не молчал и резал правду-матку всем и всегда. Не удивительно, что уже на первом курсе его таскали в Первый отдел и грозили отчислением за идеологически вредные разговоры. Так мы узнали, что у нас в группе есть свой стукачок.

А Старик был неукротим. Я и сейчас вижу, как он, лежа на своей кровати, убежденно говорит нашему Комсоргу, стоящему перед ним:

- Ты все равно выйдешь из партии, вот увидишь. Ты же неглупый человек и все понимаешь.

- Что ты говоришь, Старик! Что ты только говоришь!?! – в отчаянии всплескивал руками наш Комсорг, запорожский казак с прической Нельсона Манделы, - Нет, Старик, это ты со временем все поймешь и придешь к партии!

Ах, какое английское чувство юмора у Парки – она в точности исполнила пророчества обоих: Комсорг при развале Союза действительно вышел из партии, а Старик в конце девяностых вступил в коммунистическую партию. И при этом никто из них не изменил своим убеждениям: просто один принадлежал к партии власти, а другой – к оппозиционной партии.

Старик был аскетом вроде Диогена: он клал в чай семь ложек сахара и пил этот сироп с хлебом без масла. Мы предлагали ему разделить с нами более роскошную трапезу, но он отвечал:

- Скоро станет совсем плохо с продуктами и вы будете страдать от их отсутствия, а для меня ничего не изменится, - И он снова оказался прав.

Он был идеалист - жил для идеи и во имя идеи пришел в Университет на биофизику: его интересовало, как шаманы могут влиять на погоду. И когда к началу пятого курса он понял, что здесь он не найдет ответа на свой вопрос, он решил уйти. Как мы только ни уговаривали его остаться и получить диплом! Ему не нужна была эта бумажка. Единственный аргумент, который он воспринял это то, что мы все будем скучать по нему. И он согласился пожить с нами еще годик. И во время дипломной работы создал лучший в мире измеритель диэлектрической проницаемости, за что и получил тройку на защите. Чем был вполне доволен. Руки у него были золотые – он умел все. Старик и в общежитии подрабатывал столяром, поэтому у него всегда водились деньги и он их щедро раздавал нуждающимся, потому что сам не имел порочных привычек молодости. А для меня он был как старший брат и наставник в жизни. Как я радуюсь сейчас, когда получаю раз в год его открытку с одной лишь строчкой: «У меня все по-старому», а как «по-старому» я уже и не представляю, только знаю, что Старик жив, и мне тепло от этого.

Второе памятное «вдруг» произошло на вступительном экзамене по математике: я оказался за одной партой с юношей весьма мрачного вида, который неприязненно посматривал вокруг серыми глубоко посаженными глазами. Я прочитал свой билет и понял, что я этого решить не смогу. А мой сосед строчил на своем листке не отрываясь и я понимал, что не мне учиться в этом храме науки. Но это было совершенно

невозможно, этого я не мог принять. И я начал спрашивать соседа как решать мою задачу. Он поворачивал ко мне свое байроническое лицо полное гнева и возмущения, и с презрением сквозь зубы, но все же подсказывал мне. Мне было стыдно, но я уже готов был на любое унижение, только чтобы поступить. Благодаря его помощи, я все же что-то написал и получил тройку. Так я впервые встретился с моим будущим другом - Альпинистом.

Это был крепкий коренастый парень с красивыми чертами лица, очень застенчивый и оттого часто грубоватый. Но его грубость была маской юности. В действительности это был самый благородный человек, среди всех кого я встречал в своей жизни. Он был человеком принципов и презирал тех, для кого принципы не существовали. По этой причине он резко рвал отношения с такими людьми, что было не принято в нашей студенческой среде, где все конфликты легко сглаживались в беспринципном приятельстве. А Альпинист был другой. Он раздражал многих, но его уважали. Альпинист сразу же на первом курсе вступил в альпинистскую секцию Университета, после чего уже учебой интересовался мало, так что первую сессию едва не завалил. Но ему нужно было совсем немного, чтобы мобилизовать себя и сдать любой экзамен. Он был умен, но ум его был совершенно иного устройства, чем мой: я никогда не понимал, как он думает, а он не понимал моих размышлений. Может быть именно поэтому мы и сблизились.

Нам всегда нравились одни и те же девушки. Или я увлекался ею, а потом он как бы подхватывал ухаживание, или наоборот, но наши амурные пути всегда пересекались. Это тоже сближало нас. Альпинист был бардом – он пел под гитару приятным баритоном мужественные песни Визбора, Высоцкого и Окуджавы. Глаза слушательниц туманились, дыхание становилось глубже и они впадали в то романтическое состояние, в котором с ними можно было договориться о дальнейшем. Так что Альпинист был незаменим, когда требовалось создать эту атмосферу нежности и доверия. Я искренне восхищался его исполнением любимых песен, а он искренне удивлялся тому, что я умею рисовать – для него это было сродни волшебству.

На разных курсах мы с ним жили в одной комнате в общежитии, вместе выросли, вместе умнели. Он был свидетелем на моей свадьбе. После окончания Университета он, бездомный, пол-года спал нелегально на полу в нашей комнате в семейном общежитии, куда каждый вечер забирался по пожарной лестнице. Потом он женился и стал Горожанином. Альпинист был первым, кто пришел к нам с Женой после ее возвращения из роддома, сварил борщ, показал как купать ребенка, как пеленать его, – он к тому времени был уже опытным отцом с полугодовым стажем. Вообще он всегда был старше меня, хотя мы с ним и ровесники. Дело ведь не в прожитых годах, а в их содержании. Я и сейчас с удовольствием выслушиваю его резкие суждения о моих мыслях и благодарю Судьбу за то «вдруг», когда впервые увидел его колючий взгляд на вступительном экзамене по математике.

Очень важными в дальнейшей моей судьбе оказались случайные встречи и события, определившие мой образ жизни и мое положение в общежитии. Уже не помню как именно, но партийному куратору общежития стало известно, что я рисую. И он определил меня редактором стенгазеты общежития. Я вначале сопротивлялся, а потом понял, что это подарок Парки: вместе с обязанностью нарисовать четыре раза в год шесть-семь ватманских листов мне выделялось отдельное помещение с ключом. Правда это был бывший туалет, в котором были сломаны перегородки и вырваны унитазы, но иметь собственное помещение в общежитии, куда можно пригласить девушку, – об этом можно было только мечтать! Именно в этом помещении собирались интересные люди, там пели песни барды, там ночами мы танцевали и пили, там предавались любви сотрудники моей газеты и я – ее редактор. Две чертежные доски и

свернутый в рулон матрас всегда были наготове, а ключ, которым я владел, делал меня кем-то вроде апостола Петра.

Тогда же на первом курсе я познакомился со своим будущим Учителем, худым высоким юношей с лукавым взглядом смеющихся глаз. Он тоже был художником, но в факультетской газете. Выпускали номер к Ноябрьским праздникам, а никто из редакции не хотел рисовать Ленина. Тогда кому-то пришло в голову пригласить меня – молодого и покладистого для этого подвига. Я нарисовал Ленина, со злым лицом кричащего что-то в телефонную трубку. Партийное бюро сначала испугалось, а потом призадумалось и решило, что оно и неплохо – факультет-то у нас радиофизический. Меня поздравляли в редакции за смелость и скрытую фигу в кармане, хотя фигу-то никакой и не было, но тогда модно было диссидентствовать. А мне льстило внимание настоящих студентов – второкурсников! Они так легко вели себя в обществе девушек, а девушки были так раскованны и соблазнительны, что у меня теснило дыхание. Я не верил, что тоже когда-нибудь смогу вот так хлопнуть свою сотрудницу по попке. О наивность молодости! Как же скоро я этому научился...

Это «вдруг», как писал Булгаков в своем бессмертном романе, выскочило на меня внезапно, как убийца из-за угла, – я встретил свою Жену. Я увидел ее впервые на лекции, после возвращения из колхоза. В колхозе ее не было, потому что она была иностранка. И не просто какая-нибудь полячка, а чешка, то есть для меня почти что француженка, то есть почти Мирей Матье, на которую я западал с отрочества. А она и была немного похожа на Мирей: большой рот с тяжелой челюстью и короткая стрижка. Но она была блондинкой, а ноги у нее были длинные и чуть полноватые – таких длинных ног не было ни у кого из девочек в нашей группе. Эти ноги наши мальчики впервые увидели на занятии по физкультуре: все девочки пришли в спортивных штанах и только Жена пришла в плавках, плотно облегающих ее попку. Команду «ровняйся» мальчики выполняли автоматически, потому что на левом фланге были эти ноги и эта попка. А я вообще не мог оторваться от того, как эти ноги бегали и прыгали. Наши девочки все это видели и осуждающе шептались между собой. Жена была на два года старше наших девочек, потому что у них там в Чехии слишком долго длится школа. И это тоже сильно притягивало к ней наших юношей. Меня умилял ее мягкий акцент и я задышался от ее аромата, когда умышленно оказывался поблизости. Она носила имя Жены первого человека, что делало ее еще более манящей. Она сразу стала центром внимания, и Староста нашей группы уже забил место возле нее и все говорил и говорил ей что-то на ухо во время лекции. Я понимал, что при таком раскладе мой номер шестнадцатый, и не очень обозначал перед нею свою заинтересованность. Но Парка неустанно плела свою нить, однажды превратившуюся в кокон, из которого я уже не мог вырваться.

Это случилось вдруг во время летней практики после первого курса. Мы наслаждались летом на биологической станции недалеко от Города. Расположена она была в дубовом лесу на берегу Донца. Днем мы ходили на экскурсии и работали в лабораториях, а вечером и ночью пили водку с салом и медом – больше никакой закуски не было. Молодость все события окрашивала в цвета восторга и вечного праздника. И в этом празднике была одна точка притяжения – она. Я влюбился в нее, едва расставшись с другой девушкой, за которой ухаживал весь первый курс, но о которой забыл тут же. Я понял, что влюбился, когда мы вернулись в город, в общежитие, перед тем, как разъехаться на каникулы. Мы троим – я, она и Альпинист – шатались по пустынному летнему городу, болтали, смеялись и жизнь была прекрасна. Она была в моих петушиной расцветки джинсах, которые ей очень шли, а мы с другом любовались ею.

Потом была тягостная невыносимая разлука: дома на каникулах я считал дни до возвращения в родное общежитие, где снова увижу ее. Здесь Судьба дважды давала мне ясные указания на то, что мой выбор неслучаен и предопределен. Сначала мой друг Художник повел меня на свою первую персональную выставку, которая проходила в главной галерее города. И вдруг, идя вдоль ряда его картин, я увидел ее. Это была она! Моя любовь! С листа акварели на меня бежала голая улыбающаяся Жена вся в брызгах солнечного лета. Я уже не мог смотреть ни на что другое. Художник все понял и подарил мне эту картину перед моим отъездом. Она и теперь висит над моей кроватью. А второе указание было произнесено голосом моей первой учительницы: я случайно встретил ее перед школой, она уже была на пенсии в то время.

- Ну а девочка у тебя есть? - строго спросила она, улыбаясь, - покажи фотографию, Я показал фото, на котором она была в скандально коротком халатике.

- Хорошая девочка, ножки длинные – женись на ней! – решительно сказала добрейшая МарьяИванна. И я как бывший отличник, никогда не перечивший учительнице, понял что все уже где-то решено.

И тут я получаю от нее письмо – письмо из Чехии! У нас в Сибири такое вообще было чем-то немыслимым, а тут еще ее рука, которая сообщала мне о дне ее прилета в Москву. Я потерял голову, забыл родителей и школьных друзей, купил билет на самолет и в тот день встречал ее с цветами во Внуково. Она этого явно не ожидала и была покорена этим. Я ковал железо, пока оно было горячо! Я настоял на том, чтобы она сдала свой билет в Город, и уговорил ее поехать к моему дяде в Москву. Мой дядя «самых честных правил» был шокирован, когда мы ввалились в его тесную московскую квартирку с бутылкой шампанского. Я понял, что тут нам ничего не светит, и мы уехали из Москвы первым же поездом, идущим на юг. В плацкартном вагоне мы целовались, пили шампанское и были счастливы. В Город мы приехали ночью, в общежитие можно было поселиться только на следующий день, и я повез ее на электричке в деревню, где жила моя бабушка. Бабушка постелила нам на полу, мы спали рядом, и это обещало нам новую жизнь.

Но оказалось, что до этой новой жизни должно было пройти еще долгих два года. Оказалось, что у нее уже есть ухажер, серьезный, взрослый с машиной и квартирой в Городе. Вообще-то это было неудивительно: в Городе проживало много крутой и продвинутой публики, для которой такая девушка была дверью в европейский рай. И следовало ожидать, что у этой двери выстроится очередь весьма нерядовых граждан. Но я-то был романтический идеалист и верил в то, что любовь превозможет все и всех. И именно я оказался прав. Потом, позже, через два года. А пока мы расстались. Я очень страдал, писал стихи, рисовал ее портреты и все это дарил ей, забрасывая «окопы противника» этими тяжелыми «бомбами». Она могла сравнивать незаурядного жуира и любимца женщин, одаренного многими талантами, и своего унылого ухажера и должна была сделать правильный выбор. Я все правильно рассчитал.

Артподготовка разрушила систему обороны противника и в атаку пошла неотразимая пехота. Случилось это на третьем курсе на католическое Рождество. Мы готовились к трудному зачету по квантовой механике, а тут возник повод отдохнуть. И как-то так само собою получилось, что мы с моим другом Немцем завалились в комнату к Жене и ее подруге с двумя бутылками венгерской «Матры». Мы пригласили девушек в мою мастерскую, которая была расположена на этом же этаже. Девушки ломаться не стали и мы славно напились тогда. Потом ночью кричали «Христос Воскрес!» - девушки на это не возражали, мы танцевали и целовались. А на следующий день мы с глубокого похмелья сдавали квантовую механику.

Что-то изменилось тогда в ее отношении ко мне, какую-то плотину прорвало и мы стали часто встречаться ночами в моей мастерской. Пили шампанское, слушали

пластинки, разговаривали, целовались. А с восьмого марта начали там жить как муж и жена на двух составленных вдлину чертежных досках. Это был наш первый общий дом. Через год мы поженились. И живем вместе вот уже тридцать лет и три года.

А тогда, после свадьбы, на деньги от сданных бутылок мы отправились в «свадебные путешествия»: Жена поехала в Чехию сообщить родителям, что вышла замуж за русского, и по возможности примирить их с этим фактом, а я с компанией альпинистов отправился в Крым, на Карадаг. Для меня это был медовый месяц с Крымом – я полюбил эту землю сразу и на всю жизнь. Конечно я бывал там в детстве с родителями, но эти воспоминания остались далекими и смутными, так что я как бы впервые открыл для себя эту страну. А Крым это именно страна. Точнее – это весь мир в миниатюре, но во всем своем разнообразии, втиснутый в контуры плато Чатыр-Дага. И Карадаг – один из «континентов» этой «планеты». Я не буду описывать его величественный и волшебный облик – посмотрите акварели Максимилиана Волошина, лучше него никто Карадаг не изобразил. У подножия Карадага расположена биостанция с дельфинарием, где в тот год делал дипломную работу мой хороший приятель Лейтенант. Он был тамадой на нашей свадьбе.

Лейтенантом его звали потому, что он единственный среди студентов еще в армии дослужился до первого офицерского чина и поэтому был освобожден от военки. Когда все мучались целый день на военной кафедре, он отдыхал, ходил в библиотеку. Ночью в коридоре общежития стоял шезлонг с надписью «Кресло для лейтенанта» - это было его место, где он читал. Был он невысокого роста, сложен как Дорифор у Поликлета, на лице его всегда светилась широкая улыбка, а на голове - венчик солнечных кудрей. Вообще он был весь какой-то очень солнечный человек. Я помню, раз как-то проснулся утром в общежитии от того, что на крыше кто-то громко и радостно воскликнул: «Здравствуй, Солнце!». Это был Лейтенант, который спал на крыше. Он был прекрасным художником, эпизодически сотрудничавшим в факультетской газете, но каждый его шедевр не висел более одной ночи – его неизбежно воровали. Я помню его «Весну», написанную гуашью, где все тела и предметы просвечивали друг сквозь друга и ничто не было плотнее воздуха. Он был поклонником живописи Чурлениса, на выставку которого летал в Вильнюс в свой свободный от военки день. Лейтенант был альпинистом, бардом, а здесь, в декорациях ночного Карадага, ставил театральные действия как режиссер и актер. Зрителями были его товарищи-альпинисты.

Наша компания разместилась в ущелье на восточной стороне Карадага. По дну ущелья бежал ручей, водопадом низвергавшийся в море. А у самого моря среди скал раскинулись сердоликовые пляжи. Мы съезжали туда по осыпям, не задумываясь о том, как будем вылезать обратно, но каждый раз находили какую-нибудь тропку. Пять дней пролетели быстро, альпинисты уехали в Город, а я остался у Лейтенанта на биостанции. Он показывал мне дельфинов, на которых изучал их гидролокаторы. Лейтенант был так естественен здесь, у моря, среди дельфинов, как солнечный бог Аполлон. Я не могу представить его себе в нынешнем буржуазном обществе. Я думаю, что и Парка не могла себе этого представить и потому рано оборвала эту нить, – он погиб в конце восьмидесятых.

А тогда мы беззаботные и свободные в голубом и зеленом Крыму решили отправиться в Ялту. Сначала шли пешком, потом на попутке до Судака, оттуда на Ракете с ветерком до Алушты, а там троллейбусом. И к вечеру ввалились к нашей университетской подруге, которая жила в Ялте. Ее мама была скорее удивлена, чем обрадована, но кормила нас замечательно, ведь никогда не знаешь, кто из друзей дочки может однажды стать зятем. А мы втроем гуляли по окрестностям Ялты, поднимались к водопаду, спускались к морю. Я навсегда влюбился в этот город, каждый уголок которого вызывает вздох восхищения у художника. С тех пор, когда я слышу голос

Гребенщикова: «Под небом голубым есть город золотой», я знаю, что это за город. Потом Лейтенант уехал к себе на биостанцию заканчивать дипломную работу, а мы с подружкой поехали в Киев, где на вокзале я и встретил Жену, вернувшуюся со своей родины. Так закончилось наше «свадебное путешествие».

Тогда же, на четвертом курсе, произошло еще одно «вдруг», которое наполнило мою жизнь чисто интеллектуальным приключением, - я встретил Профессора. Это «вдруг» сверкнуло лысиной и очками где-то на уровне наших подмышек, когда мы вскач поднялись по лестнице на свою кафедру. Маленький крепыш весело смотрел на нас щелочками глаз, тонувших в лучиках морщин. Крутая слива его носа выдавала пятую графу. Из-под щетки усов слышалось довольное «Гы-гы-гы». Это был наш новый профессор биологии. Глядя на него, можно было себе представить как выглядит израильский спецназ. Профессор систематически жал двухпудовую гирию видимо для того, чтобы мог таскать на лекции свой портфель. В портфеле всегда было полно толстых фолиантов – он всегда приносил с собой оригиналы тех книг, о которых говорил на лекции, чтобы мы могли во время перерыва подержать их в руках, полистать. Так ненавязчиво он приучал нас к мысли, что учиться можно только по оригиналам, а не по их искаженным пересказам в учебниках.

Он рассказывал нам об античной биологии, о биологии эпохи Возрождения, о забытых эволюционистах XIX и XX веков, о подлинном Дарвине. И наука представляла на этих лекциях ярким приключением идей. Но добил он нас своей «компьютерной пиявкой». Надо сказать, что он был самым крупным в мире специалистом по рыбьим пиявкам. Он изъездил все моря и океаны Союза, бывал на Чукотке и на Командорских островах, и все ради пиявок – это был такой научный Дуремар. И вот тогда, когда компьютеры еще занимали целые комнаты и у них еще не «отросли» клавиатуры и мониторы, он создал работающую компьютерную модель формы тела пиявок и, изменяя параметры этой модели, построил пространство эволюции всего класса пиявок. Это было так красиво и так необычно для того времени, что вызывало невольное восхищение. А для меня эта его работа осталась примером того, к чему нужно стремиться в области биологической теории.

Меня захватил круг идей, о которых он рассказывал, и я написал реферат по недарвиновским теориям эволюции. Реферат был, как я сейчас могу оценить, слабенький и весьма наглый, но Профессор отнесся к нему со вниманием. Мы с ним начали общаться и подружились. Профессор был балагур и замечательный рассказчик. Он знал весь биологический ученый мир Союза и его там тоже хорошо знали. Я начал приходить к нему домой, он угощал меня чаем с пирожными и рассказывал много интересного об истории биологии в нашей стране – то, о чем тогда еще не писали. Он опробывал на мне свои идеи, а я честно пытался их критиковать. Но ум Профессора был так устроен, что он критики не слышал, но откладывал ее где-то в своем подсознании, и потом, через пол-года или год, он вдруг предлагал новую идею, в которой я с трудом узнавал свои мысли. Долгие годы мы поддерживали отношения с Профессором. И когда мы оба уже были в эмиграции, то регулярно переписывались. Он присылал мне свои только что изданные книги, а я писал ему на них рецензии в своих письмах. Он умер в Германии несколько лет тому назад. А незадолго до этого мы в последний раз встретились с ним в Праге в русской пиццерии, где подняли бокалы за то, что нас связывало все эти годы – за науку и за Университет.

Но вернемся на пятый курс университета. Работа над рефератом пробудила во мне священный зуд графоманства и мне захотелось написать свою дипломную работу в духе тех толстых фолиантов, которые давал мне читать Профессор. А где еще можно писать, ни на что не отвлекаясь, как не в любимейшей мне Ялте. И вот после бурной встречи Нового года в родном общежитии, я уехал в Ялту, где начал работать над

дипломом в НИИ Курортологии, который занимал несколько роскошных особняков XIX века в Массандровском парке. Меня поселили в одном из них в коморке под крышей. Я впервые оказался в Крыму зимой, и меня, сибиряка, эта странная зима совершенно очаровала. Здесь один день напоминал об осени, а другой выдавался совершенно весенним и так эти дни чередовались между собой всю зиму. Изредка выпадал снег, превращая пальмы в нелепые елки, и таял, насыщая воздух влажной дымкой. Казалось, что это тучи всю зиму лежат на холмах Ялты и делают все звуки какими-то ватно-глухими. Но при этом здешняя зима совершенно не скрывала запахи – запахи кипарисов, можжевельника и каких-то цветов, все время выдавали присутствие спрятавшейся в календаре весны. А уже в феврале в окно моей комнатки заглянула ветка алычи, полная цветов и пчел.

Каждое утро я просыпался под пение птиц в открытом окне, умывался и бежал вниз с Массандровского холма мимо золотой стрелки колокольни Иоанна Златоуста в старый город, где на маленькой треугольной площади меня приветствовала надпись «Пельменная». Здесь я съедал яичницу за 50 копеек и спешил обратно в тишину институтской библиотеки, где я был едва ли не единственным посетителем. Я погружался в ученые записки тридцатых годов, когда здесь кипела научная жизнь, и постепенно проникался дерзкими замыслами моих предшественников. Я писал и размышлял – что еще нужно графоману? По вечерам было скучно и одиноко. Ветер шумел в кипарисах и соснах, море глухо ворочалось далеко внизу и казалось, что я уже провалился на столетие назад, что сейчас можно пойти в Ялту и через час быстрой ходьбы постучаться в дверь к доктору Чехову. На выходные ко мне прилетала Жена. Мы гуляли с ней по набережной, любовались свирепыми штормами зимнего моря, пили красное шампанское в маленьком кафе с красными скатертями и красными штормами на окнах, а потом теряли счет времени в моей коморке.

Но выходные пролетали мгновенно и я снова закапывался в библиотеке. Мой шеф, вальяжный рыхлый человек с повадками маклера или фарцовщика, бодро обещал, что уже на следующей неделе мы сможем начать наши опыты. Но одна неделя сменялась другой, а та самая «следующая» все не наступала. Потом, позже я понял, чем так отличались лица местных жителей от приезжих: на них блуждала какая-то полуулыбка наподобие загадочной улыбки Джоконды. Это была улыбка тайного знания обитателей этого солнечно-голубого рая, что работа в поте лица своего относится только к тем, кто изгнан из него. О, они очень красноречиво говорили об исследованиях, о планах научной работы, но при этом таинственная полуулыбка не покидала их губ. Когда я понял это, был уже март и мне срочно нужно было заканчивать дипломную работу, на которую оставалось не более двух месяцев. Я вернулся в Университет на кафедру, получил новую тему, нового шефа и за два месяца успел-таки ее сделать.

Но вот прошли десятилетия, я совершенно забыл, о чем была моя дипломная работа, а острый запах кипариса в стывом тумане ялтинской зимы живет во мне. Я глубоко вздыхаю и чувствую на своем лице знакомую полуулыбку Джоконды.

Взрослая жизнь

Университет закончился «вдруг». Казалось, что жизнь летит на раздутых парусах: вот и диплом в кармане и будущее все «в голубых фонтанах и розовых цветах». И вдруг, буквально на том же самом месте, корабль жизни оказывается на мели, а парус превращается в грязную, беспомощно хлопающую на ветру тряпку. Родной дом – наше

общежитие – вдруг в одночасье закрылся перед нами и нам приходилось на дискотеку лазить в окна к добрым девушкам с первого этажа. Вдруг оказалось, что прописка в Городе на время учебы закончилась и нужно искать какой-то выход, чтобы поступить куда-нибудь на работу. Вдруг оказалось, что Жена должна уехать на родину, потому что ее виза на время учебы в университете тоже закончилась. И она уехала. Я остался в нашей комнате в семейном общежитии, на которую не имел никаких прав. Но я по старой памяти еще проходил мимо вахтеров, а мой друг Альпинист, который вообще оказался бездомным, залезал ко мне по балконам. Так мы и жили с ним вдвоем, ожидая возвращения Жены.

Вдруг оказалось, что вернуться она не имеет права, потому что наш брак для Государства не является основанием для того, чтобы мы с ней могли жить вместе. Я был в отчаянии. Вечерами мы с Альпинистом пили водку, дымили трубками и предавались меланхолии. А по утрам ходили на работу. Мы-таки нашли работу, хотя сделать это было очень трудно. Я помню как мы с ним последовательно обходили научные институты Города и беседовали с замдиректорами по науке. Это были спектакли, достойные МХАТА, но сыгранные для единственного зрителя и жертвы нашего лицедейства. Подобно тому как на допросах два следователя – злой и добрый – раскручивают свою жертву, так и мы вводили свои жертвы в состояние мечтательности. Я одевал биологически-философскую маску, Альпинист – технически-практическую, и с двух сторон на несчастного администратора обрушивался вал соблазнительных предложений и проектов. Жертва теряла бдительность, взгляд ее туманился, пожилой человек понимал, что прожил свою жизнь напрасно, но вот наконец-то Судьба посылает ему молодых и талантливых ребят, которые левой задней воплотят в жизнь его юношеские мечты, и он тоже на закате своей жизни сможет приобщиться к Великому и Неведомому. Как женщина в экстазе он повторял: «Да, да, да...». Он уже брал нас на работу... Но проходило несколько дней и тот же наш поклонник смущенно лепетал, что вот может через пол-годика, а пока... нет ставок. Альпинист с гордостью говорил, что нет какого замдиректора по науке, которому бы мы не навешали лапши на уши, но, увы, толку от этого было мало.

Наконец-то мы нашли работу в институте Навоза и Прочих Удобрений. Сначала мы не обращали внимания на название, но посетив однажды заседание Ученого Совета института, поняли насколько это все серьезно. Вокруг стола сидели люди из массовой фильма о председателях колхозов. Один из них отчитывался в научной работе по «упариванию бесподстилочного свиного навоза», которую его лаборатория выполняла уже три года. Перед этим бледнели невинные капустники, которые мы с Альпинистом разыгрывали в поисках работы. Я, затаив дыхание, ждал реакции высокого собрания на эту туфту. Все молчали. Директор, обведя глазами Членов Совета, спокойно подытожил: «Да, это очень важная тема. Продолжайте ее и в этом году». Все молчали. Я понял, что в этом спектакле они не зрители, а участники. А позже я убедился, что и нам с Альпинистом отводились свои роли в этом провинциальном театре. Это была роль Малыша в спектакле о Карлсоне. Именно такими нас видела наша шефиня – вылитая Фрекенбок. Это было унижительно и безысходно – мы ведь как молодые специалисты обязаны были три года проработать на этом месте. Первым не выдержал Альпинист: он «отрастил пропеллер» и оказался Карлсоном, который улетел от нашей «домомучительницы» на волю. Я остался один в Малышах и затосковал.

Тоска оказалась настолько серьезной, что превратилась в невроз с приступами гипертонии. Я попал в больницу, где наслаждался отсутствием тех лиц и тех разговоров. К этому времени Жена смогла вернуться ко мне, поступив в аспирантуру Университета и получив новую визу на время новой учебы. Она каждый день приходила ко мне в больницу, окна которой выходили в сквер – бывшее кладбище,

возле которого я родился. Еще одна петля нити Судьбы, приведшая меня в начало моей жизни. Будет ли у нее продолжение? Приступы неврастения продолжались все лето и в конце его меня все же уволили из института, опасаясь неприятностей связанных с моим здоровьем. Наконец-то я стал безработным, я жил в нашей комнате в общежитии, мы с Женой были вместе – я блаженствовал!

Три года я мучительно выкарабкивался из болезни, сначала привыкая к транквилизаторам, а потом медленно от них отвыкая. После года работы в институте Удобрений и болезни голова почти не соображала. Я начал медленно и постепенно нагружать свой мозг. Каждый день читал и конспектировал статьи по математике, физике и биологии, залатывая дыры в своем университетском образовании. Возобновил встречи и разговоры с Профессором. Мы с ним организовали на нашей кафедре в Университете семинар по теоретической биологии под видом части курса биологии, который он там читал. Семинар просуществовал недолго, но на него собирались думающие молодые люди из разных институтов Города. Альпинист, не выносящий околофилософской болтовни, говорил, что на мой семинар сбредаются все сумасшедшие Города. Наверное, они были недостаточно сумасшедшими, потому что семинар вскоре тихо умер от отсутствия идей.

Тогда же умер Брежнев. И буквально на следующий день после этого в общежитие пришел гонец и принес мне повестку в КГБ. Опять в моей жизни возникла эта угроза. Опять я попался на своей любви к написанному слову: в письме к Старика, который жил на Урале, я написал что-то о польской «Солидарности» и о том, что и нашу страну это вскоре ожидает. А Старик был под колпаком КГБ еще со студенческих лет и его почта просматривалась. Вот они и решили сшить нам дело об антисоветской группе, а за групповуху, как известно, больше дают. Невыспавшийся и встревоженный вошел я в это мрачное здание с такими высокими дверями, что входящий сразу чувствует себя маленьким и ничтожным. Сдал паспорт.

В кабинете ко мне придвинулись два следователя. «Как мы с Альпинистом у зампонауке», - промелькнуло в голове. На меня смотрели две пары веселых и наглых глаз, обещавших себе занятный спектакль. Но спектакль был скучный и предсказуемый: они начали убеждать меня, что я скрытый враг, а я, напротив, начал их в этом искренне разубеждать, стараясь не задеть при этом нечаянно Старика. В голове сидела одна мысль – не обнаружу ли я в своем паспорте при выходе печать «минус десять»: так назывался запрет на проживание в десяти крупнейших университетских городах Союза. После пяти часов допроса следователи понемногу расслабились:

- А что, Вы чувствовали за собой слежку?

- Конечно, - соврал я.

Беседа явно входила в финальную стадию:

- Мы Вас можем привлечь за тунеядство – вы уже три года нигде не работаете,

- Я ищу работу, но при этом мне всегда отказывают на том самом месте, где за день до того соглашались взять,

- И Вы думаете, что это мы Вам мешаем?

- А что мне остается думать? – пошел я в атаку,

- Хорошо, мы Вам обещаем, что в первом же месте, которое Вы найдете, Вас возьмут на работу. Но не тяните с этим.

Я вышел из «казенного дома», когда уже начинало вечереть. Паспорт был чистый! На следующий день моя мама сказала мне:

- Теперь они никогда тебя не оставят в покое – ни-ко-гда, учти это.

А у меня уже был полугодовалый ребенок и нужно было крепко думать над тем, как быть дальше. Мы с Женой решили сделать ему Чехословацкое гражданство, чтобы, в

случае чего, они с сыном могли уехать из страны. Для себя я таких планов не строил. Но тягостная тень эмиграции уже поднялась на горизонте моей жизни.

КГБ сдержал свое слово: меня приняли на работу в Институт Провинциальных Врачей. Взяли меня на пол-ставки не то инженером, не то техником, чтобы я «обходя дозором» восемнадцать кафедр института, разбросанных по всему Городу, чинил там все, что поломано и не работает. Мне нравилось обходить мой Город с отверткой и паяльником в сумке. Город любят ногами и ноздрями. Я мог без усталости шагать по нему своими натоптанными маршрутами и с наслаждением узнавать его запахи там, где я их оставил в прошлый раз. Почему-то в моих воспоминаниях Город всегда погружен в летний зной. Он конечно южный город, но и в нем бывает ледяной февральский ветер. А вот в памяти – зной и нега лени. И этот зной можно изобразить всего двумя цветами: золотисто-розовой дымкой на фоне черных провалов теней. Таким я и написал его в серии картин «Сны о Городе». Таким я его вижу теперь во сне. Каждую ночь.

Конечно я мог починить не все – я вообще плохо разбираюсь в электронике. Но врачи в ней не разбирались вообще, поэтому я быстро прослыл среди них специалистом. А если я что-то не мог починить, я приводил Альпиниста, гениального инженера, который мог все. И он все чинил, чем еще больше поднимал мой рейтинг. Я был занят на работе только до обеда, потом приходил в общежитие, укладывал сына спать, а сам садился заниматься физикой и математикой, потом мы с ним шли гулять в городской парк на детскую площадку, вечером я его кормил, стирал пеленки, а ближе к ночи возвращалась Жена из института, где она работала над диссертацией, приходили гости и начиналась ночная студенческая жизнь, которую нарушал только заспанный голос моего сына, стоящего в своей кроватке:

- Дайте же человеку поспать!

И вот тогда я встретил его – моего Учителя, который круто первернул всю мою дальнейшую жизнь, определив ее смысл и направление на десятилетия вперед.

Учитель.

Мы встретились с ним вдруг, неожиданно, спустя несколько лет после окончания Университета. Дипломы мы получали в один день, хотя Учитель, в отличие от меня, последние два года учился на вечернем, поэтому мы практически не пересекались с ним в Университете. Я ничего не знал о нем, а точнее забыл о его существовании. И вот мы столкнулись на улице поздней осенью, когда серый день неотличим от вечера, а мокрое небо казалось улеглось на землю. В этом «земном небе» двигались сгорбившиеся фигуры прохожих, искры дуг проезжающих троллейбусов потрескивали в изморози. А я не мог оторвать глаз от лица красивого человека. Красивого не в смысле обложки глянцевого журнала, а в смысле той красоты, которая присутствует в греческом слове «калá» и которая в переводе на русский означает скорее не «красиво», а «хорошо». Это ощущение возникало из-за света в его глазах – это был свет мысли. Глядя на такое лицо, хотелось сказать: «Так вот какими Ты задумал нас, Господи!». Но тогда я не мог этого сказать, потому что в Бога не верил, а просто мне было «калá». Мне улыбались его лучистые глаза – мудрые бархатистые маслины. На дне их лежали века прожитых жизней. На лице молодого человека они казались невозможными и поэтому завораживали. Мне захотелось поделиться с ним всем, что меня мучало последние годы. Мы разговорились и долго стояли так в городском потоке.

Послушал бы кто-нибудь из современных прагматиков наш разговор – чистое безумие! Для нас Наука, Познание, Истина были абсолютными ценностями, а все, что

не относилось к ним – быт, карьера, политика, не имело никакого значения. Хотя и быт, и карьера, и политика казалось должны были бы раздавить этот идеализм: жил я с женой и маленьким сыном в общежитии, был безработным почти три года – жил на аспирантскую стипендию жены, а политика грубо вторгалась в мою жизнь в облике КГБ, которое шило мне антисоветскую агитацию и пропаганду. Но об этом мы не говорили – мы говорили о новой физике Пригожина, о маячившем на ее горизонте призраке новой биологии. Я в то время был в унынии под впечатлением от самоликвидации нашего с Профессором семинара по теоретической биологии – не было ни идей, ни людей, способных порождать идеи. И мне казалось, что таких людей уже нет вообще нигде.

- Нет, такие люди есть, – мягко, но уверенно возразил Учитель,

- Ты думаешь? – с недоверием спросил я.

- Я видел таких людей и говорил с ними, - с грустью ответил он.

Он рассказал, что недавно вернулся из Москвы, где провел неделю в курилке Ленинской библиотеки. Там он познакомился с блестящим философом и математиком, который пригласил его к себе в аспирантуру. И вот теперь Учитель размышлял, принять ему это предложение или нет.

- О чем тут думать? - удивился я, - Конечно соглашайся, это же шанс судьбы!

- А кто же будет вас учить? – улыбнулся он.

Я не понял тогда, что он имел в виду. Потом понял... много позже. Глядя куда-то вдаль, Учитель задумчиво произнес:

- Знаешь что? Давай попробуем двигаться вместе – приезжай ко мне. Может что-нибудь у нас и получится... Давай, брат, воспарим!

И вскоре мы действительно «воспарили».

Это было в самом начале зимы. Учитель, уйдя в очередной раз из семьи и бросив работу, жил тогда у своей подруги в однокомнатной квартирке в спальном районе Города. Обстановка этого жилья была бы аскетична для любого анахорета: из мебели в комнате были только шифонер и диван, стол и стулья были на кухне. На полу стояла пишущая машинка. Возле стены был сложен книжный шкаф из тел самих книг: книги по математике, химии и физике были подобраны по размеру так, чтобы на нижний их ряд можно было положить доску, на которой выстраивался новый ряд, и так далее. Среди них был и один роман – «Идиот» Достоевского. Окно выходило на балкон, который видимо не считался частью квартиры, судя по могучим наслоениям голубинового помета, придающим ему сходство с утесами арктического острова.

Отсутствие мебели компенсировалось наличием трех новогодних елок без игрушек. - Это новогодняя чаща, - серьезно пояснил Учитель, прочитав удивление в моих глазах. Мы разместились на диване и на полу. Нас было трое слушателей. Все мы по случайному стечению обстоятельств были биофизиками. Все мы закончили Университет, и все мы ждали каких-то новых знаний, которых нам не дала наша Альма матер.

Учитель обвел нас лукавым взглядом, посерьезнел и сказал:

- Запишите тему: «Теория функций комплексного переменного».

И мы стали записывать...

Почему мы этим занимались? Как объяснить это тем, кто этим никогда не занимался и никогда заниматься не будет? Может быть нас не любили женщины и мы таким диким способом пытались компенсировать свою неполноценность? – Нет, напротив, мы были жуиры и бонвиваны, а женщины в наше время предпочитали не богатых, а умных и оригинальных, так что мы не могли пожаловаться на невнимание прекрасного пола.

Может быть мы были болезненно тщеславны? – Нет, эти тайные занятия не сулили нам ни славы, ни ученых степеней. Тем более речь не шла о какой-то выгоде. Учитель любил рассказывать всвязи с этим известный исторический анекдот: «К Эвклиду пришел один человек и спросил: - А какая мне будет выгода от знания геометрии? Эвклид сказал слуге: - Дай этому человеку три оболы, он ищет не знаний, а выгоды». Да и вообще «оболы» в нашей среде не имели никакого значения: мы жили не в стране разлагающегося социализма, а в утопической Касталии Германа Гессе, где смысл существования заключался в бесполезной и всепоглощающей «Игре в биссер».

Вы скажете – безумцы! Нет, мы так же как и сегодняшняя молодежь искали кайфа, но нам повезло догадаться, что самый крутой наркотик – это математика, только в отличие от обычных наркотиков при ее «приеме» сначала происходит длительная ломка, и только потом приходит кайф, который тебя уже никогда не покидает. Это кайф быть человеком разумным, который большинству живущих гоминидов просто недоступен.

...Итак, мы стали записывать, а точнее зарисовывать. Учитель каждое свое утверждение тщательно изображал на бумаге в клеточку. И мы могли наблюдать, как числа заполняют пространство, образуя спирали, вдруг выходящие из плоскости бумаги и образующие причудливые формы раковин экзотических улиток. Казалось еще немного и мы увидим мир Пифагора, в котором «вещи суть числа». Я сразу вспомнил компьютерную пивку своего Профессора и почувствовал, что это тот путь, который я искал, размышляя о теоретической биологии. Но окончательно я понял, что здесь мне приоткрылась какая-то глубочайшая истина, когда Учитель нарисовал схему интегрирования, и я впервые понял геометрический смысл интеграла. Это было так просто и так очевидно, что прийти к этой очевидности мог только гениальный ум. У меня по спине пробежала дрожь восторга и я понял, что буду приходить сюда до тех пор, пока Судьба дарит мне такую возможность.

Занятия математикой продолжали «свой плавный бег» в философии, которая напоминала нам мир средневековых космографов, где земля накрыта хрустальной твердью диалектического материализма, за пределами которого ничего уже нет. Но мы были «честными исследователями» этого мира и поэтому вскоре обнаружили, что это вовсе не твердь, а «атмосфера», в которой мы пытаемся мыслить, и что за ней лежит бездна чего-то совершенно иного, к чему даже непонятно как подойти. И именно это иное обещало мне объяснить, что такое жизнь.

На что похож маленький коллектив людей в состоянии активного размышления над неведомым? – Скорее всего на безумный спектакль, который актеры разыгрывают перед самими собой. Говорят, что так актеры отдыхают. А мы так работали. Помню раз мы возвращались от Учителя поздно ночью. Учитель тогда тоже поехал с нами по своим делам. Я взял такси - до общежития мне было дальше всех добираться – а остальные сели подехать до нужной трамвайной остановки. В такси мы продолжали обсуждать горячую для нас тему. Таксист оглядывался и бросал на нас быстрые внимательные взгляды. Учитель попросил, чтобы водитель высадил его возле психбольницы – там рядом остановка трамвая. Когда такси остановилось и Учитель пошел к своей остановке, таксист крикнул ему вслед:

- Вход не там. Во-о-он где калиточка-то!

Мы расхохотались, а ведь он правильно воспринял нашу компанию – это действительно был непрерывный спектакль, текст пьесы для которого сочинялся по ходу самого спектакля. Учитель был гениальным педагогом, потому что он был актером – спустя почти год после начала наших философских занятий я совершенно случайно узнал, что он играет в народном театре нашего Города, и не просто так, а роль Клавдия в «Гамлете». И вот тут, во время напряженных диалогов между нами тоже

возникла такая связь, какая образуется на сцене между актерами. Эта связь властно требовала определенных слов и мыслей, неожиданных и странных для самих участников этих диалогов. Потом, вдруг, мы понимали их глубокий научный смысл. В этом и состояла наша интеллектуальная работа.

Это действительно была тяжелая работа: после четырех-пяти часов непрерывного обсуждения какой-то темы, силы совсем покидали наши молодые тела. Тогда мы пили дешевый портвейн, Учитель брал в руки гитару и пел «Переведи меня через майдан...». Что это было за пение! Его голос, постепенно нарастая, грохотал, отражаясь и множась в отражениях, и казалось, что стены и окна участвуют в этом дивном хоре. А голос все рос и уже звучал как бы внутри слушателей. Мы трезвели, из глаз катились пьяные слезы, а горло перехватывал спазм, когда мы пытались ему подпевать. А потом, вдруг его голос обрывался на самом гребне своего звучания и тишина возвращала нас в убогую квартирку. На этом наше занятие обычно заканчивалось. Так мы трудились два дня в неделю на протяжении целого года. Весь этот год Учитель нигде не работал и жил в крайней бедности на зарплату своей подруги. Мы, ученики, подкармливали его по возможности: идя на занятие покупали чего-нибудь съестного и выпивку. И начинали занятие с того, что жарили картошку, ужинали, а потом пили чай и постепенно втягивались в наш мир, в котором нет ни бедности, ни зависти, ни житейских забот, но только вечная жизнь мысли.

Однажды вьюжной февральской ночью после напряженной работы и двух бутылок портвейна Учитель провозгласил меня «Отцом теоретической биологии» и своим «Любимым учеником». Мой Город вообще очень «гоголевский» и располагает к гиперболе и преувеличениям: недаром именно здесь в свое время Велимир Хлебников был провозглашен своими поклонниками «Председателем Земного шара». Я воспринял свое звание так же серьезно, как Хлебников свое, и оно определило потом всю мою дальнейшую жизнь.

Я и сейчас, много лет спустя, закрывая глаза, вижу лицо Учителя со сверкающими глазами, горбатым носом с чуткими ноздрями и всколоченной бородой. Он казался, а может быть и был, воплощением какого-нибудь древнегреческого Зенона или Гераклита, а может быть и самого Пифагора. Вот Зенон глубоко затягивается беломором и, улыбаясь, хищно следит за тем, как Ахиллес старается догнать свою черепаху. Мы чувствовали себя школой такого древнегреческого философа. Порой усталому мозгу чудилось, что тени великих греков подставляют свои чаши под наш убогий портвейн, чтобы отпраздновать вместе с нами очередную победу мысли. Мы все были современниками – и Платон, и Ньютон, и Пуанкаре. Не было времени, не было темных веков, отделяющих их от нас. И в момент рождения мысли все они были живы и даже более реальны, чем унылый мир спящего за окном Города.

После Учителя

И вдруг Учителя не стало. Погиб он нелепо: выпрыгнул из открытого окна института, куда должен был наконец-то поступить на работу, выпрыгнул, убегая от санитаров из психбольницы. Есть и другая версия, что именно санитары по неосторожности или по злему умыслу столкнули из окна. Кто теперь определит, как оно было на самом деле? Он сильно пил последнее время, - его мозг не выдерживал напряжения, которого требовали мы, его ученики, - эгоисты, как все ученики во все

времена. Говорят, что это был приступ белой горячки. Да мало ли что говорят. Я думаю, что он истратил себя, отдал себя нам полностью, до конца. Нет большего подвига для Учителя, как нас учит Евангелие.

Был месяц май, все цвело, было жарко и душно, пот заливал лицо и на глаза все время попадались жирные зеленые мухи, напоминая о смерти и разложении. Я не был на кладбище – поздно узнал о его смерти – но был на поминках, которые на этой жаре и солнце были мучительны. С трудом дождался конца и с облегчением ушел оттуда - не хотелось никого видеть. Я брел по Городу, смотрел на надвигающуюся грозовую тучу и вдруг понял, что теперь настал мой черед, что я призван и посвящен и уклониться от этого невозможно. Слишком много всего было начато и не окончено. Слишком многое оставалось непонятым. Я должен завершить эту работу. Но я так мало знал, невежество мое было безмерно – себе-то я мог в этом признаться. Первые раскаты грома и теплый летний ливень были свидетелями моей клятвы завершить этот труд и написать о нем книгу. Я понимал, что для этого, может, понадобится вся моя жизнь или большая ее часть. В памяти всплыли строчки стихотворения Учителя:

«Жизнь не окончена пока,
Ржавеет бритва у Оккама,
А на столе лежит программа
Мероприятий на века...»

Ну что ж, я был согласен взвалить на себя эту ношу. И Судьба приняла мое намерение, выступив мне навстречу в виде цепочки многих «вдруг», которые уверенно повели меня к этой цели.

Первым звеном этой цепи было предложение знакомого хирурга-кардиолога прочитать у него на квартире цикл лекций о наших изысканиях. Он знал о наших трудах через своего ассистента, который был одним из слушателей Учителя. Хирург очень этим интересовался, потому что, как все медики, преклонялся перед каждым, кто способен написать уравнение, а тем более его объяснить. А я к этому времени уже разобрал бумаги Учителя и свои записи его лекций и напечатал на машинке все, что можно было связно изложить, сопроводив это разборчивыми рисунками. Вот с этим богатством в руках я и попробовал себя в качестве учителя.

Хирург был пожилой «юноша бледный со взором горящим». На его лице не было ни одного ровного места – оно все состояло из бугров и жевлаков. Такие лица бывают в старости у людей, знававших голод в жизни. А он много испытал лишений, потому что был полевым хирургом во время войны. Теперь он работал в кардиоцентре Города и параллельно изучал на собаках травматический шок: ломал им ноги на гильотине и наблюдал, как они в мучениях умирают. Он получил много интересных результатов, но не мог их описать по своей математической безграмотности. Он тайно ждал от меня в этом помощи. А я тайно был уверен, что смогу ему в этом помочь.

И вот мы сошлись в его просторной, сильно захламленной комнате в старинной коммунальной квартире в центре Города. Я прикрепил к стене рулон перфорированной бумаги для принтера и начал фломастером рисовать на ней уравнения и графики. Но чем дальше я продвигался, тем все яснее осознавал, что очень многого не понимаю. Правильно говорят: «Если хочешь что-нибудь хорошенько понять, поробуй объяснить это другому». Вот тут и обнаруживаются дыры и лакуны в собственных познаниях. И если бы мои восторженные слушатели были способны задавать вопросы, я бы сразу обнаружил свое невежество. Но Хирург вопросов не задавал и сосредоточенно строчил за мной в своей тетрадке, посверкивая очками из-под густых бровей. Чем меньше он понимал, тем больше умилялся, и к концу последней лекции, совершенно уверился в моей гениальности. А мне было ужасно стыдно. Я заедал свой позор жареной курицей,

которую запекла в духовке супруга Хирурга, и обещал себе больше публично не выступать. И учиться, учиться, учиться...

И все же этот опыт учительства оказался для меня полезен. Я еще раз пересмотрел сохранившиеся записи и постарался связно изложить на бумаге то, что я говорил в своих импровизированных лекциях. Получилось эссе о методе Учителя, которое на долгие годы стало для меня дразнящим образом, зародышем еще не написанной книги. Я мечтал, что вот еще лет пять напряженного самообразования и я смогу вырастить из этого зерна прекрасное дерево зрелой теории. Я тогда сильно ошибался в сроках – мне понадобилось для этого двадцать пять лет. И если вспомнить, что это были за годы, то станет ясно, что без благоволения Судьбы, без ее удивительных «вдруг», посылаемых мне навстречу, это было бы совершенно невозможно.

Новое «вдруг» не заставило себя долго ждать: моя подруга привела ко мне в общежитие двух молодых людей, одним из которых она серьезно увлекалась, и мы познакомились. Два друга, я назову их Моряк и Гуру, являли собой то самое единство противоположностей, о котором нам рассказывали преподаватели диамата. Гуру был худенький жилистый юноша с бездонными глазами молодого Олега Стриженова, в которых как раз и тонула тогда моя подруга. Моряк представлял собой устрашающее двухметровое тело атлета, увенчанное добродушной улыбкой задумчивого хохла из произведений Гоголя. Единство же их заключалось в какой-то общей для них обоих отвязанности, отстраненности от этого мира, как будто в них жило воспоминание о каком-то ином, более реальном для них мире. Потом я понял, что впервые столкнулся с людьми, у которых был опыт общения с психоделиками. Но они были людьми своего времени, поэтому искали в кайфе Истину, а не просто загоняли себе дурь. Это был путь мне неведомый, и меня заинтересовал их опыт. А их заинтересовали мои размышления, потому что они были биологами-заочниками и математика для них была чем-то вроде тяжелого наркотика. Поэтому ко мне они отнеслись с уважением, как к человеку, легко живущему в области передозировок.

Так Судьба подарила мне новую аудиторию нового «невидимого университета», расположившегося в горном Крыму на Кордоне лесника, которым оказался Моряк. Гуру тоже числился лесорубом в том же леспромхозе. Гуру вообще всю жизнь кем-то числился, но заставить его работать не смог никто, – видимо первый же забитый им косяк вывел его на такую орбиту, с которой уже невозможно было спуститься на нашу грешную Землю. Гуру только улыбался тихой улыбкой праведника и разъяренные начальники оставляли его в покое. Моряк же был человек ответственный, если понимал, что это ему что-то даст, поэтому двигался в жизни маленькими бросками, тщательно окапываясь на каждой завоеванной позиции и копя силы для следующего броска. Но в промежутках между этой активностью он благодушеествовал и с удовольствием размышлял над дзеновскими коанами. Место для этого было идеальное. В те годы горный Крым был невообразимой глухоманью. Трудно было себе представить, что совсем рядом с забитыми народом пляжами существует этот затерянный мир дубовых и буковых дебрей, водопадов и горных озер, древних пещерных городов и скал. Организованные туристы тогда туда не проникали, татар еще не было. Это все было в безраздельном владении Моряка и, конечно, Гуру, который знал горы как свой карман и бродил там, не сходя со своей орбиты.

Я впервые попал на Кордон к Моряку осенью, когда золотые деревья слепят глаза на фоне нестерпимой синевы Крымского неба. Днем было еще жарко, а по утрам нужно было разбивать лед в ведре, чтобы умыться. В сарае в корзинах на зиму уже были сложены огромные душистые яблоки. А за домом тянулся до самого леса огород, на котором, без всякого ухода, поспевали кабачки и помидоры-сливки. Моряк говорил, что до конца огорода он еще никогда не доходил – не было нужды. А у меня в памяти

на всю жизнь остался новый деревянный сортир, который Моряк соорудил перед самым моим приездом: он пах свежими досками и лучи утреннего солнца наполняли его янтарным светом. Мы целый день бродили по горам, а вечером жарили утку на костре, предварительно наполнив ее теми самыми яблоками. Потом пили спирт под кабачки с помидорами. После спирта я укреплял на стене рулон перфорированной бумаги и начинал читать свои лекции. А Моряк с Гуру их слушали. Только в молодости такое возможно, и счастлив тот, кто поймет это еще молодым!

Мои слушатели воспринимали лекции по-своему: они не могли следить за логикой математики всилу своего биологического образования, но они с удовольствием оценивали сами выводы, обращаясь к своему недоступному мне опыту. К моему удивлению, для них самым простым оказалось то, над чем мы с Учителем затормозили, пройдя насквозь твердь диалектики. То, что я называл «иным», оказалось тем миром, в котором они себя чувствовали как рыбы в воде. Это был их мир – мир иррациональных интуиций и откровений. Этому я учился у них.

На прогулках по Крымским дебрям Моряк объяснял мне философию дзен-буддизма:

- Понимаешь, - говорил он задумчиво, - есть такие вопросы, для ответа на которые нужно стать другим человеком.

- Например? – спрашивал я.

- Например, что такое хлопок одной ладони?

- Ну это просто: это тишина, такая, как здесь,

- Не спеши с ответом – то, что очевидно, не всегда бывает правильным. Многие буддийские монахи потратили на поиск правильного ответа десятилетия.

Я был в восторге от этого нового для меня знания. Гуру познакомил меня с книгами Кастанеды и Кришнамурти. Тогда это было запрещенной литературой и я впервые столкнулся с самиздатом, за который Гуру тоже был под колпаком у КГБ. Но в эту эпоху КГБ уже шило дела белыми нитками, потом их распускало, чтобы снова сшить что-то на скорую руку, – они уже чуяли грядущие перемены и занимались имитацией бдительности. Так что мне уже никто не мешал просвещаться в этом направлении.

А время подходило к концу. Заканчивался этот период моей жизни. Мне предстояла скорая эмиграция. Гуру женился на подруге и перебрался в Ялту. Моряк устроился поблизости от него в Ботаническом саду и теперь видел море из окна своей комнаты в общежитии. Лесной Кордон остался в сердце, как недосягаемая вторая ладонь, обрекающая на вечное молчание мою одинокую ладонь.

Эмиграция

Будущее неумолимо надвигалось на меня все те три года, когда уже было ясно, что мы уедем. Я старался забыть эту реальность в почти каждодневных встречах с друзьями. Я не мог представить себе, что однажды все это кончится и я буду выброшен в какой-то совсем иной мир, где не будет никого из них. Но этот день настал.

Мы с женой уезжали в два этапа: сначала она с сыном, а через месяц, вдогонку им, ехал я. После их отъезда я остался в нашей комнате в общежитии один. Заходили соседи и забирали мебель, которая мне уже была не нужна. Наконец в комнате осталась одна железная кровать, на которой я спал, и стул, на котором лежала единственная книга – «Идиот» Достоевского. Почему «Идиот»? Так вышло. Мы с женой

благополучно отправили за границу контейнер с моей библиотекой (а это уже в то время было не менее тысячи томов) и я остался без книг. Взял у Альпиниста почитать что-нибудь. Почему-то это оказался «Идиот». И вот морозным февральским днем я лежу в пустой жарко натопленной комнате на кровати в состоянии абсолютной свободы, когда со всеми обязательствами здесь я уже развязался, а новых обязательств еще не ведаю, и читаю Достоевского. А роман, как известно, заканчивается словами генеральши Епанчиной: «И все это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия... помяните мое слово, сами увидите!» Я почувствовал, что она это говорит именно мне. И потом, за долгие годы эмиграции, я имел возможность убедиться в этом вполне.

Кто-то, не помню кто, писал, что отъезд в эмиграцию – это те же похороны. Это действительно так. Я помню яркий солнечный день в начале марта. Грязный съезжившийся снег прячется по углам тротуаров. Пахнет весной и вокзалом. Меня провожают в эмиграцию друзья и родители. Все напряженно шутят и стараются не показать, что происходит что-то необратимое и непоправимое. Я обещаю приехать летом, не сильно в это веря. На лицах родителей застыла маска ужаса, искаженная вымученными улыбками. Наверное они вспоминали тот день, двадцать пять лет назад, когда на том же месте так же провожали их мои дедушки и бабушки, когда они уезжали жить в Сибирь. Но тут была не наша Сибирь, а неведомое «царство мертвых» - заграница, откуда наши люди не возвращаются. Я стоял в тамбуре отходящего поезда и по их лицам видел, что они хоронят меня.

Потерянный сидел я в вагоне и краем уха слушал, как какая-то старушка говорит соседям:

- А на лбу его и есть знак зверя, вот и выходит, что грядут страшные времена, о которых в Святом писании сказано.

До меня дошло, что она говорит о Горбачеве, и я усмехнулся ее суеверию. Но как показала жизнь, старушка была права, а суеверием оказался шум пустой интеллигентской болтовни, в которой все глубже увязала эпоха перестройки. Это сейчас я все понимаю о русской революции, когда смотрю хронику семнадцатого года: болезненную эйфорию конца света, радостный идиотизм толпы, торжество безумцев, пляшущих на могиле своей Родины. Потому что тогда, в конце восьмидесятых годов, мы сами точно также были околдованы сладким безумием перестройки. Как в эпоху любой революции ожидался немедленный приход «царства божия» и при этом созидался ад на земле. Но все это стало мне ясно много позже, когда страна под руководством этого «жука в муравейнике» уже погрузилась в небытие. Нужно прислушиваться к простецам и мудрецам! Вот мудрец Пушкин написал двести лет назад эпиграмму на царя, а как будто Горбачева видел:

«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.»

Так и кружатся в русской истории Пушкинские бесы, оставляя после себя пустыню на месте страны... А пока поезд уносил меня из надвигающейся эпохи перемен в тихое время восточноевропейского застоя, где еще три года мне предстояло привыкать к инобытию Европы.

И вот унизительное пересечение Советской границы позади и меня приветствует Прага влажным весенним ветром, настоящим на запахе угольного дыма каминов и хорошего молотого кофе. С тех пор этот коктейль запахов у меня прочно ассоциируется с Чехией. На вокзале меня встречала жена с сыном. Первым делом мы зашли в ближайший универмаг, где я купил новые ботинки, которые сразу надел, а

старые и разбитые под брезгливыми взглядами продавцов тут же сунул в урну. Так в новых ботинках я вошел в Европу.

Первое впечатление было потрясающим – Прага это город-сказка, особенно для жителя советской провинции. Но потом возникает желание найти за этой красочной оберткой привычное насыщенное содержание жизни. И постепенно приходит понимание, что его-то тут и нет. И наверное никогда не было. Недаром страстный западник Герцен, пожив в Европе, назвал европейцев «сплоченной посредственностью». А по-гречески «посредственный» звучит как «идиот». Вот про жителей австрийского Зальцбурга говорят, что поселившийся в этом городе человек на второй год глупеет, на третий становится полным идиотом, а на четвертый становится таким, как все. На самом деле это сказано не про Зальцбург – это сказано про всю Европу. Я понял это к концу первого года эмиграции. Понял и затосковал страшно. Меня спасла та странная привычка к каждодневному графоманству, которую я выработал в себе еще на Родине. Каждое утро, отведя ребенка в садик, я садился за стол и писал несколько страниц своих размышлений. Это создавало иллюзию приемлемой среды обитания. В ней-то я и выжил. И живу в Европе, страшно сказать, вот уже двадцать пять лет.

В конце первого года эмиграции Парка сжалилась надо мной и послала мне верного товарища по ностальгии на все эти двадцать пять лет. Я познакомился с ним на детской елке, которую устраивало советское землячество. Он был там Дедом Морозом. Причем замечательным Дедом Морозом, от которого мой четырехлетний сын был в совершенном восторге. Потом я узнал, что он профессиональный оперный певец, но работает на фабрике рабочим. А дома рисует. Он оказался замечательным живописцем с удивительным чувством цвета. На этой почве мы быстро сошлись. Внешность Артиста очень к себе располагала - это был тип Юрия Гагарина: рост, фигура, улыбка, обаяние, легкость в общении. Он был биологически лет на двадцать младше своего возраста – в сорок он казался двадцатилетним, причем не только внешне, но и по какой-то совершенно юношеской жажде к познанию. Перед таким слушателем я не мог устоять и в третий раз открыл свой «домашний университет»: я раскрыл перед ним все то, что рассказывал своим слушателям на лесном кордоне в Крыму. Для меня это был совершенно новый опыт, потому что излагать математику артисту и художнику это весьма странное занятие. Но его удивительная интуиция помогала ему видеть то, что он не мог понять. И то, что он увидел, оставило в нем столь неизгладимое впечатление, что в дальнейшем Артист стал первым (после Жены) читателем всего, что я написал в эмиграции.

Весь первый год я был безработным. Мне это очень нравилось, потому что позволяло жить, едва касаясь чуждой мне жизни. Зарплаты жены хватало на все, включая летнюю поездку всей семьей в Крым. Но родственники ворчали, что я бездельник, и я делал вид, что ищу работу. В Городке, где мы поселились, находился биологический центр академии наук. Там как раз работала моя жена. И я пытался найти там же место для себя. Последовательно обходя академические институты, я пытался соблазнить их директоров теоретической биологией, которую собирался построить. Но они с недоверием смотрели на посланца Советского Союза, который в душе сильно ненавидели. Их чувства распространялись и на меня, и на теоретическую биологию, которую я им втюхивал. Один незабвенный зампонауке сказал мне изумительную фразу:

- Молодой человек! Для того, чтобы получить право работать головой, нужно сначала долго работать руками.

Потом, после революции, этот «мыслитель» стал министром окружающей среды. Это помогло мне трезво оценить интеллектуальный уровень пришедших к власти

демократов. В общем, я положился на судьбу и в дальнейшем много раз благодарил Парку за то, что меня не взяли ни в один из институтов академии.

Вдруг перед самым Рождеством жена через свою сотрудницу узнала, что в местной санэпидемстанции расширяется отделение радиационной гигиены. А надо сказать, что это был как раз год, когда взорвался Чернобыль. Я пошел туда и меня сразу взяли на работу. И как я понял по прошествии небольшого времени, Судьба очень тщательно подобрала условия моего существования на многие годы вперед. Буквально через месяц после моего поступления на работу для этого отделения достроили новое здание, где у каждого сотрудника был свой личный кабинет, а через три года и личный компьютер, что тогда было большой редкостью. Конечно это был компьютер допентиумной эпохи, но все же он позволял вести поиски интересующих меня алгоритмов на базе идей Учителя. Я был убежден, что такие алгоритмы есть и что они способны порождать органические формы. В этом мне виделся путь к построению теоретической биологии. Через десять лет я убедился в правильности своей интуиции.

А тогда я приступил к своим обязанностям в лаборатории под руководством Садовника. Он был ядерным химиком по образованию и цветоводом по призванию. Выходные дни он проводил на своем огороде, а отпуск в горах социалистических стран, куда его пускали, - там он собирал семена горных цветов. Его страстью были скальные садики, в создании которых он был заметным человеком в Чехии. Садовник был достаточно начитанный человек, сносно говорил по-русски, что облегчило мне вхождение в коллектив. Плотный, сутулый, коренастый, с прогрессирующей лысиной и большими руками трудолюбивой гориллы, он выглядел как бомж, собирающий бутылки возле вокзала. Никто из прохожих на улице не мог бы заподозрить в нем кандидата наук. Потом я понял, что это особый шик местных образованных диссидентов: это был их дресс-код, которым они бросали свой робкий вызов коммунистическому режиму. Садовник тоже был диссидентом еще с 68-го года, его периодически вызывали в первый отдел и в местное КГБ, как меня в мою бытность в Городе. Там он писал и подписывал, что требовали, а потом сидел запершись в своем кабинете и молча курил трубку. Я рассказал ему о своем опыте по этой части и он проникся ко мне искренней симпатией.

В Чехии были замечательные магазины советской книги, где можно было купить все, что выходило в Союзе, и что в самом Союзе было очень трудно достать. Я активно пополнял свою научную библиотеку и очень много читал. Я был похож на речную драгу, пропускающую через себя тонны грунта, чтобы добыть несколько грамм настоящего золота. В то время таким золотом была математическая теория фракталов. Мы много говорили о ней с другим моим коллегой, который позже стал моим шефом. Шеф был похож на водяного из чешских народных сказок – на грустного водяного, прячущегося за толстыми стеклами очков. Его увлекала эзотерика и физика, и нам было о чем поговорить. Но слишком редко страсть к познанию заставляла его всплывать над тиной своего пруда. Зато он понимал, над чем я работаю, и когда стал шефом, всячески старался обеспечить мне спокойную жизнь. Садовник и Шеф были заботливыми руками Судьбы, в которых я чувствовал себя весьма уютно на протяжении двух десятилетий.

Причем, судьба заботилась и о том, чтобы я не отвлекался от своего основного задания на посторонние мелочи. Однажды я рассказал Садовнику о фракталах и он загорелся мыслью применить их для описания поведения газа радона в грунте. Мы с ним провели серию опытов в лаборатории и написали статью. Причем, написали по-русски, и послали в научный журнал. Садовник говорил, что против русской статьи никто не сможет возражать. Оказалось все наоборот: нам вернули нашу статью вместе с разгромной рецензией. Интересно, что примерно через год я на одной конференции

встретил того рецензента и спросил его, что ему так не понравилось в фракталах. Он искренне ответил, что понятия не имеет, что такое фрактал. А статью нашу редакция отвергла просто потому, что мы прислали ее из никому не известной провинции. А для таких исследований существуют серьезные институты в столице. Это был еще один поучительный опыт в моей жизни за границей.

Раздосадованный Садовник тогда плюнул на все и уже не тревожил меня никакими опытами. Только по утрам я приходил в его кабинет и он учил меня английскому языку, который знал в совершенстве. А потом я закрывался в своем кабинете и погружался в необъятное море научных книг и журналов. Так размеренно протекала моя жизнь, пока не грянула революция и привычный мир стал съезживаться и таять на глазах, как тает мартовский снег под лучами солнца.

Революция случилась вдруг. Ничто ее не предвещало: ну бузили студенты в Праге, ну полиция их разгоняла – дело житейское, как говорил Карлсон. И вдруг, в течение трех дней, вся страна была парализована забастовкой. Кто, как это организовал – совершенно непонятно. Во всех учреждениях вдруг появились какие-то комитеты, раздавали трехцветные банты, народ собиравали на митинг. Все это было бы похоже на рядовую первомайскую демонстрацию, если бы не лица людей: вместо спокойной расслабленности праздника – нервное возбуждение, которое под маской веселости скрывало глубокий страх. Страшно было пойти на митинг, потому что потом могут за это выгнать с работы, и страшно было не пойти на митинг, потому что за это потом могут выгнать с работы. Каждый пытался угадать, кто же победит, чтобы вовремя примкнуть к победителю. А пока все старались не отличаться от остальных, чтобы их не заподозрили в активности. Так и пошли как стадо на центральную площадь города по привычному маршруту первомайских демонстраций.

Было уже довольно холодно. Ночью выпал снег и колонны демонстрантов оставляли за собой грязную слякоть. На площади был сооружен помост, на котором кучковались революционеры. Говорят, что революцию делают романтики, а плодами ее пользуются подлецы. Нет, - революцию делают дураки под предводительством подлецов, прикидывающихся романтиками. Я впервые в жизни оказался в такой наэлектризованной толпе и мне здесь очень не понравилось. Толпа – это примитивное коллективное животное, которым легко управлять и направлять его куда угодно. На каждое «Ура» она отвечает восторгом, а на каждое «Долой» - злобным ревом. Мне стало противно и тошно, я промочил ноги в снежной каше и ушел с площади. Я шел пешком обратно на работу и ругал себя за то, что участвовал в этом балагане. Это так унижительно для человека побывать в толпе - это превращает тебя в ничтожество. Тогда я не знал еще, что присутствовал на обкатке новой технологии «цветных революций», первая из которых осталась в истории под названием «бархатной». Много лет спустя, глядя по телевизору на зверские рожи запрудившие Киевский майдан, я вспоминал этот свой опыт и переживал его заново.

А тогда я вернулся в пустое здание своего учреждения, развесил мокрые носки на батарее в своем кабинете, заварил чай и стал думать, что же делать в такое время, как сохранить себя и уважение к себе в этом дерьме. За окном кабинета тоскливо выл ветер, опасно раскачивая огромные голые скелеты тополей, щелкающих костями своих ветвей. Я понимал, что грядет период смуты и хаоса. Сколько он продлится и чем он кончится для меня - непонятно. Поэтому нужно было прожить это время с максимальной пользой. Я вставил чистый лист бумаги в свою печатную машинку и написал заглавие: «Философия активности». И начал писать о том, что мы назвали «иным». Мысль успокоилась, сосредоточилась на логике моих размышлений за последние несколько лет и я уже не отвлекался на события, которые разворачивались вокруг меня. Мое графоманство укрыло меня от революции.

А вокруг происходили ежедневные собрания, выборы в какие-то органы самоуправления, принимались резолюции и воззвания. Старый диссидент Садовник помолодел на двадцать лет: он заседал во всех комитетах с утра до ночи, распечатывал на принтере листовки и был счастлив. Он снова был в той Пражской весне, где осталась его молодость. Я не хотел его разочаровывать своим скепсисом и старался реже выходить из своего кабинета. А он считал, что я, как очень хитрый советский диссидент, маскирую свой восторг перед местной революцией, чтобы недрелющее КГБ не привлекло меня за участие в ней. Он заговорщицки улыбался мне и ободряюще подмигивал. А я писал. Когда я закончил эту работу, то понял, что с этой частью философии Учителя я разобрался полностью. Тут я вспомнил, что Учитель для ее обозначения предлагал термин «революция», и улыбнулся иронии Парки.

На Рождественские праздники мы с Женой как всегда поехали в Берлин к нашему другу Немцу. На этот раз он устроил нам экскурсию в «свободный мир» - Берлинская стена еще не была разрушена, но на ту сторону уже пропускали всех желающих. И мы впервые вступили на Запад. Я все-таки художник и поэтому воспринимаю явление прежде всего эстетически. Я увидел мир, стилистически тождественный кукле Барби и обложке глянцевого журнала: яркая бесвкусица, которая совершенно незаметна для местных обитателей, потому что они другие. Я это остро почувствовал – они другие, для них не существуют те измерения бытия, в которых я прожил свою жизнь. Для меня была очевидной лживость их целлулоидно-фарфоровых улыбок, а для них эта маленькая ежедневная ложь составляла всю правду их мира. Я вспомнил Киплинга: «Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись». Мне стало не по себе от предчувствия, что мой мир будет поглощен этим чуждым миром. Это беспокойство не покидало меня на всем обратном пути в Чехию.

Вскоре мне предоставилась возможность поближе познакомиться с выходцем из этого «свободного мира». Садовник на своей даче выращивал семена цветов и поставлял их в Голландию известной семеноводческой фирме. И вот в наш Городок приехал владелец этой фирмы. Он остановился в лучшем отеле города и пригласил Садовника на обед, а тот и меня с собой прихватил. Я увидел такого капиталиста, какими их изображают на карикатурах левых изданий: маленький, толстенький, шумный и бесцеремонный балканский турок с восточным именем Саид. Он чувствовал себя белым человеком, который принес дикарям свет цивилизации. Он с аппетитом кушал чешскую чесночную похлебку и объяснял присутствующим, что такое чистые деньги:

- Вот это чистые деньги, - говорил он и с удовольствием демонстрировал всем свою кредитную карточку,

- А вот это – грязные деньги, - и он доставал из кармана смятые купюры. Все внимали ему в немом благоговении. Садовник заискивающе улыбался своей зверской улыбкой старого бомжа. Меня представили ему. Он сразу спросил, как называется столица Украины. Я ответил. Тут на его лице промелькнул живой интерес:

- О, да Киев, Киев. Мы должны наладить связи с Украиной, там огромные возможности. Нет ли у Вас там надежного человека?

- Да, есть, - ответил я, сразу вспомнив Моряка, - это как раз то, что Вам нужно: знает английский язык и имеет биологическое образование,

- Как его зовут?

- Моряк,

- Моряк, Моряк, - с удовольствием вертел он на языке это имя, - Это очень, очень интересно!

Он сунул мне в руку купюру, достоинством в пятую часть моей месячной зарплаты и попросил связать его с Моряком. Я был рад, что смогу помочь товарищу в таком

трудное время. А как обрадовался Моряк, когда я ему сообщил об этом! И уже очень скоро я встречал его на вокзале в Праге, куда он приехал из Голландии с кучей наличных долларов. Он купил себе факс и с ним поехал в Крым организовывать в своей комнате в общежитии филиал голландской фирмы. Он сразу круто изменил свой статус в местном сообществе: это был уже не зависимый от всех и каждого аспирант ботсада, а менеджер с факсом, из которого поминутно вылазили свидетельства существования свободного мира. Впрочем-то ничего в его образе жизни не изменилось: он так же бродил по горам, только теперь это называлось его работой и он отчитывался о ней по факсу. Неразлучный Гуру стал младшим менеджером этого филиала и тоже бродил по горам, но уже как бы в командировке от фирмы.

Через год Саид приехал в Крым проинспектировать свое детище. Он привез в подарок Моряку и Гуру по очень дорогому галстуку, с которыми они не знали, что делать. Вид общежития его не шокировал – видимо он что-то подобное и ожидал увидеть. Но вот, что его действительно потрясло, это шкафы с книгами, которые он увидел в комнате Моряка. Он быстро и как-то даже болезненно переводил взгляд с книг на Моряка и обратно и видно было, что какая-то мысль очень тревожит его. Потом он тихо сказал Моряку:

- Если бы я знал, что у тебя столько книг, я бы не доверил тебе такие деньги. Человек, который прочитал столько книг, это опасный человек. От него можно ожидать чего угодно.

Так Саид раскрыл страшную тайну капитализма, его главный ужас и ахиллесову пяту. Капитализму страшен образованный человек – он отторгает его, как чужеродную ткань, потому что не может контролировать его поведение. Не понимает его мотивов. Вот Саид, например, чист перед капиталом: его мир не сложнее мира личинки короеда – все делится на съедобное и несъедобное, первое нужно съесть, причем раньше всех, а второе – выплюнуть. Такой человек похож на улитку, зараженную личинкой паразитического червя: эта личинка внедряется в нервную систему улитки и изменяет ее поведение так, что оно становится выгодным личинке, но не улитке. Улитка становится как бы внешним телом червя. Так и капитал, внедряясь в человека, превращает его в червя, которого Виктор Пелевин остроумно назвал «Оранус» или по-русски «Ротожопа».

Глядя на книги, Саид почувствовал, что перед ним находится тот подвид человека, который в современной классификации называется «лох», а лохов необходимо «кидать», потому что иначе ты сам рискуешь стать «лохом». Этот нехитрый запас понятий Орануса подсказал ему его дальнейшие действия: он-таки кинул Моряка, причем оставив его в долгах. А потом случайно я узнал от Садовника, что вся эта затея с филиалом в Крыму была прикрытием для того, чтобы «распилить» бюджетный грант Голландского правительства, направленный на помощь «Новым демократиям». «Обмани ближнего своего, а не то он сам обманет тебя», - вот основной принцип существования свободного мира. Идеологи либерализма любят критиковать социализм за то, что его главный принцип «отнять и поделить», но при этом тщательно скрывают, что основной принцип капитализма – «отнять и ни с кем не делиться». Так я в своей жизни знакомился с реальной политэкономией.

А между тем капитализм крепчал: зарплаты росли, а деньги впадали в ничтожество. Пришлось подрабатывать. Садовник организовал фирму ландшафтного дизайнера и я после работы махал там лопатой в качестве рабочей силы. Люди после социализма еще были незлые и часто кормили нас после работы. Это тоже была экономия. А тут Жену выгнали с работы как политически вредный элемент, и она только эпизодически подрабатывала переводами. В это время наш сын носил ботинки, найденные им на мусорке, а мебель наша и сейчас почти наполовину состоит из того, что мы нашли на

благодатных помойках эпохи начального капитализма. Легче всего было летом на нашей даче в лесу: мы покупали только хлеб и сахар, а малину собирали в лесу и всласть наедались хлебом с перетертой ароматной малиной. Осенью собирали терн и черноплодную рябину и делали из них настойки, потому что алкоголь был не по карману. Но каждое лето мы всей семьей все-таки продолжали ездить в Крым. В этом мне серьезно помогали родители моего друга Немца: когда-то еще студентом я был у них в гостях на свадьбе Немца и научил его папу закусывать водку соленым огурцом. Ему это так понравилось, что он сохранил на всю жизнь самые нежные воспоминания обо мне. И вот в это трудное время он каждый месяц присылал мне конверт с двадцатью марками. За год набиралось как раз на отдых в Крыму.

Мы каждый год ездили в Германию к Немцу. Он был весьма успешен в науке, его материальное положение значительно улучшилось с падением социализма. Но с каждым годом я замечал в нем все нарастающее беспокойство, которое контрастировало с его внешней буржуазностью так же, как его квадратная нижняя челюсть контрастировала с мягким взглядом серых глаз. Он каждый раз обращался ко мне с одним и тем же разговором. Он говорил, что не может объяснить своим родственникам с Запада, как он мог учиться и жить в Советском Союзе, как он выносил гнет тоталитаризма. Никто не допускал мысли, что этот гнет нас вовсе не угнетал, - это воспринималось как ущербность нас самих. И немец действительно чувствовал в себе эту ущербность, потому что ведь вот оно, свершилось, - рухнули оковы несправедливого режима. Но как же тогда объяснить, что нам было так хорошо в нашей общаге? Что мы были по-настоящему счастливы там, в эпоху застойного социализма? Он говорил: - Нужно написать о нашей жизни тогда. Нужно все это описать, чтобы люди могли прочитать и понять, - Ну и напиши, - довольно легкомысленно отвечал я, готовя на кухне его любимое мясо в вине.

Потом я понял, что он сам был не в силах это сделать и подталкивал меня к такому подвигу. Но я тогда был занят своей работой над Книгой и не мог отвлекаться на художественные воспоминания. И вот только сейчас я возвращаю ему этот долг.

Он так и не смог ответить сам себе на вопрос своих родственников, потому что в его голове была идеологическая каша: социализм воспринимался через призму коммунистической догмы, капитализм же победил, а значит не подлежал критике. Немец не был аскетом, он любил комфорт, причем «все возрастающий», как это нам обещали идеологи «научного» коммунизма, и поэтому не мог принять открытие Ивана Ефремова и Германа Гессе: «коммунизм – это общество образованных аскетов». Соответственно: «капитализм – это общество невежественных потребителей». И водораздел между ними как раз и проходит через образование: хорошо образованные, творчески развитые люди неизбежно оказываются аскетами в отношении материальных благ, невежественный же человек неизбежно оказывается стихийным потребителем. Это два «биологических» вида человека, автоматически «кристаллизующиеся» в два типа общества – коммунизм и капитализм. Причем, массовое распространение людей аскетического типа вызывает мгновенную гибель капитализма – это экспериментально доказал Махатма Ганди в Индии: экономика Британской империи не выдержала бойкота потребления британских товаров в Индии. Напротив, массовое распространение идеологии потребления создает почву для распространения и укрепления капитализма – этот эксперимент «успешно» поставил на себе Советский Союз. И одно с другим не смешивается, как масло с водой. А если попытаться смешать, как это попробовали наши «научные» коммунисты, то в итоге получается все-таки «невежественный потребитель», как Кадавр в знаменитой сказке братьев Стругацких. Так что конец социализма означает конец идеологии так

называемого «научного коммунизма», которая на самом деле подготавливала человеческую почву для современного общества потребления. А коммунизм – это совсем «о другом».

Братья Стругацкие разочаровались в коммунизме, который они активно вместе с Ефремовым исследовали в шестидесятые годы. В конце концов они пришли к тому, о чем говорит христианство: человек порочен по своей природе. При этом они не заметили, что на их книгах выросло поколение людей «послезавтрашнего коммунизма». Это образованные творческие люди, знающие высшее наслаждение созидания и совершенно не интересующиеся потреблением вещей. Существование такого поколения, это, как говорится, «медицинский» факт. Сегодня их называют «лохи», то есть маргиналы. Но без этих маргиналов не могут обойтись современные технологии, ибо инновации рождаются в их головах. Поэтому капитализм, замалчивая их существование, пользуется их мозгами. И только очень редко, как огненная комета, прорежет небосвод наших СМИ невмещающийся ни в какие современные понятия факт существования какого-нибудь Перельмана, упорно отвергающего миллион долларов. А ведь этот факт разрушает фундамент общества потребления. Потому что миллион – это бог, которому поклоняются все его обитатели с самого детства, это цель жизни современного человека. И если ее отвергнуть, то становится непонятным, как жить, зачем жить и что такое человек. Таковую вот «теорему Перельмана» предложил миру гениальный питерский затворник.

А доказал ее Ефремов еще в шестидесятые годы. И мы, выросшее на нем поколение, стали экспериментальным подтверждением этого доказательства. Мы – десант будущего, потому что будущее определяется знаниями. Капитализм думает, что нас можно держать на коротком поводке, но для того, чтобы знания воспроизводились в следующих поколениях, нужны вполне конкретные условия, которые несовместимы с «невежественным потреблением». Поэтому модель «Касталии» Германа Гессе в той или иной форме будет востребована жизнью – капиталисты вынуждены будут допустить существование локальных «аскетических коммунизмов», в которых будут воспроизводиться творцы новых технологий. Без «мокрецов» Стругацких нет технологического будущего. А если возникнет этот «архипелаг Коммунизма», он станет центром кристаллизации иного типа общества, как стали им люди-книги в романе Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Поэтому, друг мой Немец, зря ты комплексовал: мы не в прошлом – мы люди послезавтрашнего дня. Если, конечно, он вообще наступит.

Но тогда я ему всего этого не сказал, а он, видимо, ждал от меня каких-то таких слов. Я думаю теперь, что эта недоговоренность и стала глубинной причиной нашего дальнейшего охлаждения, которое постепенно привело к полному разрыву отношений. Повод был, как водится, совершенно другой: я просто перестал ездить в Германию, потому что плохо переносил поездки из-за своей усилившейся гипертонии. Но он мне не поверил, потому что я все-таки каждый год ездил на Родину, в Крым. А объяснить ему, что мне лучше умереть, чем не поехать на Родину, я не смог. Здоровому человеку трудно понять мотивы поведения больного. Вот он и обиделся. И замолчал. Парка оборвала эту нить и завязала узелок на память.

Крым

Дмитрий Быков написал, что Крым – это место, куда нужно вернуться в старости, чтобы вспомнить, что ты жил. Это очень верно. Но я скажу откровеннее: Крым – это

клитор Черного моря. Те, кто тусовался в Крыму в начале 90-х годов, поймут меня. Тогда Крым вдруг перестал быть страной и стал просто полуостровом, на котором все превратились в робинзонов. Прошлое уже кончилось, будущего еще не было, оставалось вечное лето и вечное море. Вместе с гражданством люди сбросили с себя и остатки одежды, в те времена появиться на пляже в плавках было верхом неприличия – это был дресс-код времени отсутствия всяких культурных кодов. Крым походил на город, который оставила оборонявшая его армия и который еще не заняла армия неприятеля, и на короткое время он был оставлен на разграбление нам – влюбленным в него молодым мародерам.

Все годы эмиграции я виртуально жил в Крыму. То есть я приезжал туда на две недели в год и эти две недели продолжали мою жизнь с того самого момента, когда закончились две недели предыдущего отпуска. Такое бывает во сне: часто во сне мы помним, что происходило во сне в предыдущие ночи и продолжаем тот же сюжет сновидения. И такая цепочка снов составляет свою отдельную от бодрствования жизнь сознания. Причем, днем мы ничего этого не помним. Это как две параллельные реальности. Подобно этому ДНК эукариот состоит из интронов и экзонов. Интроны вырезаются, экзоны склеиваются и с них клетка печатает свои белки. А если наоборот, выбросить экзоны и склеить интроны, то получатся белки совсем другого организма: страшный мистер Хайд оказывается на месте тихого доктора Джекила. «Интроны» моей жизни в Крыму с годами склеились в отдельную судьбу – жизнь, прожитую на Родине, которая для «экзонов» моей эмигрантской жизни была всего лишь сном. Я жадно пил эту жизнь, пока надо мной в очередной раз не захлопывалась крышка чужбины. Я любил Крым: я любил его горы, море, горные потоки, деревья, солнце, ветер, женщин. Я растворялся в нем как сахар в стакане чая и был счастлив. Я был permanently влюблен и не только в свою Жену.

Ее звали Мавка. Не красавица, но Женщина во всех своих проявлениях. Такая совершенная Инь, мимо которой ни один мужчина не сможет пройти, а спроси его – он и объяснить толком не сумеет, что в ней так неодолимо его притягивает. Пройдет такая женщина мимо мужика и утянет его в свою бездну, даже не взглянув на него. А когда мужчина всплывет из этого омута, он ничего не может вспомнить, только понимает, что пропал безвозвратно. Одно слово – Мавка, рыжая колдунья. И я тоже пропал. Сначала дергался, трепыхался, но только глубже увязал в этой трясине. А потом понял, что это тоже Судьба, и перестал сопротивляться. Потому что не бывает случайной связи, которая длится четверть века. Это «вдруг» явно прошло через руки Парки.

Вот я закрываю глаза, втягиваю в себя воздух и меня поглощает одуряющий ночной запах смятых стеблей лаванды, уши закладывает от грохота цикад, волны прибоя в ритме гомеровских гексаметров швыряют наши тела навстречу друг другу, пахнет водорослями. Потом ее «взгляд, склоненный на колена» и блуждающая улыбка, обращенная не ко мне, а к вечной богине любви, которая обитает где-то в сердцевине каждой женщины:

- Мне тоже хорошо с тобой, - тихо говорит она, не то мне, не то своей богине. И я что-то лепечу, какую-то чушь, которую способны слушать только женщины, потому что им безразлично, что говорит мужчина. А лягушки орут среди звездного неба в бассейне парка и своим криком заглушают наши голоса. О, молодость, молодость! Сейчас я бы не смог подняться по крутому склону парка от моря до поселка, а тогда – взлетал, да еще по пути оставлял, казалось, все силы в любовном омуте ботанического сада.

Жена и Мавка были чем-то очень похожи – посторонние люди считали их сестрами, хотя трудно было сказать, чем же именно они так похожи. Я думаю, что общим в них была их внутренняя конституция, некий основной закон их жизни. Они обе – очень самостоятельные женщины с очень позитивным отношением к миру и жизни. Они –

фундамент и основание быта семьи, на котором так сладко паразитировать всякого рода мечтателям и фантазерам. Терпение их безмерно, а доброта соперничает с терпением. Они обе – идеальные жены, о каких только могут мечтать мужчины.

Днем мы втроем купались в ледяных горных потоках над Ялтой под сенью вековых крымских сосен, пепельными колоннами подпирающих небо. А по ночам плавали в море, когда оно светится таинственными всполохами планктона, и поэтому теряется его граница с небом. И кажется, что ты плывешь в теплом звездном небе. А как прекрасны голые женщины, плывущие среди мерцающих звезд! Их тела отливают перламутром и они кажутся nereидами этого моря. Куда там Шагалу с его чахоточными девицами в низком витебском небе!

А здесь небо было повсюду. Его было так много, что все остальное воспринималось сквозь небо: глядя на голубую чашу гор вокруг Ялты, я невольно вспоминал Пастернака: «В этот голубой раствор погружен земной простор». Желтоватая пыльная тропинка ныряла среди скал, можжевельных деревьев с корой из мешковины и развратно-голых стволов земляничного дерева. Это было, может быть, единственное место во всем средиземноморском регионе, где сохранились субтропические джунгли в их первозданном виде. Каждый раз, спускаясь по этой тропе к морю, я впускал в себя эту красоту, впускал ее навсегда. И когда на следующий год я снова приезжал сюда и снова сбегал по этой тропе, я чувствовал, что никакого года не было, что все это был только сон, теперь же я проснулся в этом раю и останусь в нем на протяжении двухнедельной вечности. Сейчас, когда годы мои протекают вдали от Крыма, я все так же сбегая по этой тропинке к морю – ночью, во сне, и уж из этого рая меня точно никто и никогда не сможет изгнать.

Крым подарил мне несколько важных для меня «вдруг». Именно в Крыму я понял, о чем должна быть моя Книга, которую я никак не мог начать писать. Мне подсказал это Физик, с которым познакомил меня вездесущий Гуру. Гуру умудрялся бывать на всех интеллектуальных тусовках Крыма и знал всех, кто там мог быть чем-то интересен. Физик был физиком-теоретиком, который перебрался в Крым от московской бескормицы: на зарплату теоретика в Москве уже было не прожить. А здесь, в Ялте, на сто долларов в месяц, которые ему присылал из Принстона его сын, тоже физик-теоретик, он жил как король. Точнее как аскет. Физик снимал койку в старинном доме прямо на набережной Ялты напротив порта. На первом этаже этого дома был видеосалон, где круглосуточно крутили порнографию, прививающую гражданам новые представления о дозволенном. А на втором этаже, в огромной комнате, напоминающей палату провинциальной больницы, жил Физик и еще человек шесть постояльцев бомжеватого вида. Сиротские железные койки с матрацами и обшарпанные тумбочки составляли всю обстановку этого помещения.

Физик сидел в трусах и майке на кровати и пил чай из кружки. На тумбочке лежала нарезанная колбаса и корки хлеба. Это был пожилой человек с экземой на лице и со следами интеллигентности в манерах. Мы представились друг другу. Потом Гуру повел нас бродить по только ему одному ведомым горным тропкам вокруг Ялты. Там, сидя на скале и глядя на утопающий в голубом мареве город, мы разговорились.

- Не понимаю, как Вы можете размышлять и при этом работать чиновником, – сказал он, - Я, например, никогда в жизни не работал – я всегда только размышлял и мне за это платили зарплату.

- Увы, Вы жили в другую эпоху, а мне приходится думать о том, как прокормить семью, - отвечал я. И рассказал Физика о том, над чем размышлял последние годы. О том, как странно ведет себя физика внутри живых организмов. О том, что совместить эту физику с физикой неживой природы можно только явно введя в рассмотрение геометрию или форму организмов.

- Это очень интересно, - сказал он, - Ведь физиков проблема формы практически не интересует. Она присутствует в их построениях только в виде краевых и начальных условий уравнений. И эти условия выбираются максимально простыми для удобства. А то, о чем Вы говорите, это совершенная целина в физике.

Меня это очень вдохновило. Я понял, на чем нужно сосредоточиться в моих поисках, и в голове моей всплыло слово «Морфология». С этого момента я думал о моей будущей Книге, как о книге по философии морфологии.

И именно в Крыму я принял решение начать ее писать. К этому подтолкнул меня все тот же Гуру в другой мой приезд в Крым. Мы с ним тогда карабкались на задницу Медведь-горы и присели отдышаться. Мы сидели внутри тучи, было сыро и зябко и это очень напоминало осень. Невозможно было себе представить, что в это же время на голове у Медведя стоит августовский зной, от которого несколько часов спустя мы будем тщетно спасаться в тени реликтовых фисташковых деревьев. И нас будет мучить жажда - на Медведе нет источников воды, они ушли на дно моря после землетрясения, случившегося тысячу лет назад. Тогда же монахи из монастыря на этой горе спустились на побережье, а гора так и осталась Святой – Аю-Даг.

И вот тогда во время привала Гуру спросил меня, как продвигается моя книга. А я ответил, что все еще не считаю себя в праве начать ее писать, потому что мне все еще не удастся найти математический алгоритм построения биологической формы, а ведь это центральное содержание моей книги.

- Зря ты не пишешь, - сказал Гуру и посмотрел на меня так, как, наверное, смотрели на барона Мюнхаузена наиболее интеллигентные из его слушателей. И тут вдруг я понял, что он прав. Ведь прошло уже десять лет со дня смерти Учителя, а я все так же далек от цели, которую тогда перед собой поставил. Так может и вся жизнь пройти, а я все буду собираться с силами. Нет, нужно писать, а там как Бог даст. Сам процесс писания должен меня вывести на верную дорогу. С этой мыслью я тогда и уехал в Чехию.

А Крым остался. Хотя наше время там постепенно подходило к концу: новые «хозяева жизни» начали отрывать себе куски этой волшебной страны и огораживать их неприступными каменными заборами. Побережье стало покрываться метастазами элитных поселков и лишениями татарских самозахватов. Ялту обезобразили уродливые многоэтажные башни. Новый варвар пришел в Крым. Сколько их уже было в его истории и сколько еще будет. Крым напоминает старый пергамент, который сам по себе слишком ценен, поэтому каждый новый его владелец соскребает с него старые письма, в которых он ничего не понимает, и заполняет его новыми «священными» текстами. Которые тоже обязательно будут стерты новыми владельцами. А зубцы Ай-Петри в голубой бездне неба все так же равнодушно будут смотреть на развалины очередного Вавилона. И только любовь не подвластна времени: придут однажды молодые и грамотные, спустятся к морю по тропинке сквозь заросли на развалинах хамских котеджей, окунутся в звездное море и пронзит их сердце любовь к этой земле, любовь, которую мы им оставили в наследство.

Книга

Скоро сказка сказывается... А путь к Книге оказался небыстрым. На второй год после революции в Чехии я решил вернуться на Родину в свой Город. Я так и сказал Жене:

- Не могу я больше здесь. Тошнит меня от всего этого.

Она молча плакала, покорно принимая и этот поворот своей судьбы. Я съездил в Прагу в посольство и написал заявление о том, что хочу уехать на Родину. Советник посольства с «усталыми, но добрыми глазами» сотрудника КГБ сочувственно сказал мне:

- Зря Вы это затеяли – там скоро будет еще хуже, чем здесь. Хотя я Вас понимаю и дам ход Вашей просьбе. В течение года получите ответ из министерства иностранных дел.

В течение года! За этот год Парка сплела для меня такую сбрую, в которой я мог двигаться только в одном направлении – продолжать тянуть свою лямку. Сначала оказалось, что Жена беременна. Потом, через пол-года после рождения второго сына, у нее обнаружили рак и ее срочно прооперировали. Я кормил младенца из соски и понимал, что как ни крути, а бросить семью в таком положении я не смогу. А спустя еще два года Парка поставила жирную точку в этих моих намерениях: сумасшедший дом, называемый Украинским парламентом, лишил гражданства всех, кто в момент провозглашения незалежности не присутствовал на Украине. Я оказался с недействительным паспортом в стране, которая не допускает присутствия людей без гражданства. У меня оставался единственный выбор: принять чешское гражданство или быть депортированным из страны. Так я стал иностранцем. Парка пыталась убедить меня, что ее нить для меня – это нить Ариадны. И я пошел в лабиринт будущего, держась за нее.

Став иностранцем, я снова после многолетнего перерыва взялся за кисть и начал рисовать маслом. Повод был совершенно графоманский – мне нужно было сохранить свою подпись! Дело в том, что я везде должен был подписываться латинскими буквами, но я совершенно не мог себя отождествить с такой подписью. Ведь подпись – это изображенное имя, а имя, как говорил философ Лосев, это и есть сама личность. Мне очень важно было сохранить необходимость легитимно использовать свою русскую подпись. А что я мог ею подписывать в этой жизни? Только нарисованные мною картины. Так графоман вызвал к жизни художника.

Постепенно жизнь налаживалось. Учреждение, где я работал, стало частью министерства, а я – чиновником с соответствующей зарплатой. Жене удалось устроиться на работу в лаборатории нашего учреждения, а при двух зарплатах в семье «жить стало лучше, жить стало веселей». Пока несколько лет в стране длилась административная чехарда, у меня было достаточно свободного времени, чтобы завершить работу над математическим моделированием биологических форм.

Тогда, в начале девяностых годов, появилась работа одного американского математика, который при помощи компьютера строил в комплексной плоскости формы, очень напоминающие простейшие организмы. Он назвал их биоморфами. Он стал таким «компьютерным Ливенгуком» XX столетия. Я сразу написал простенькую програмку и у меня на экране компьютера тоже получились его зверушки. Я вспомнил лекции Учителя о том, что из комплексной плоскости можно выйти в объем, и мне захотелось попробовать там, в объеме, построить свои биоморфы. Объем – это уже не комплексные числа, это, как минимум, кватернионы. А кватернионы считать долго – тот 386-й компьтер, который был у нас на работе, рисовал такую картинку на протяжении всего рабочего дня, поэтому практически делать это было невозможно. И вот у нас появился первый 486-й компьютер (это все происходило в допентиумную эпоху!). Он рисовал одну картинку за два часа, а это означало, что за свой рабочий день я могу исследовать несколько точек на комплексной плоскости и посмотреть, обитают ли там какие-нибудь зверушки.

Два года ушло на то, чтобы найти подходящие алгоритмы построения биоморфов. Мне удалось научиться соединять цепочки алгоритмов наподобие цепочек ДНК, чтобы

в результате происходило усложнение биоморфа наподобие усложнения формы зародыша настоящего организма. В результате я породил целый зоопарк организмов, в которых можно было узнать и рыб, и насекомых и млекопитающих. Это был мир эйдосов – идеальных форм, о котором учил Платон. И это был мир форм как мир чисел, о котором учил Пифагор. Для меня это был пропуск к написанию Книги, потому что я получил результаты, которые должны были составлять ее главное содержание. Но начать писать мне тогда так и не удалось. Помешала болезнь.

Каждый получает по заслугам. Очень точно сказал Сергей Говорухин: «Нарушение основных библейских заповедей и есть жизнь...». Только нужно добавить, что и расплата за их нарушение – это тоже жизнь. Моя связь с Мавкой продолжалась все эти годы. Она приезжала в Чехию почти каждый год, а я бывал в Крыму вообще каждое лето. Как раз в эти годы я принял крещение и начал регулярно ходить в церковь – у нас в городе открыли православную часовню. Медленно и незаметно происходило изменение веса отдельных поступков: одни делались легкими, а другие почти невозможными. Грех и воздаяние за него совершаются так же неумолимо, как закон земного притяжения, просто промежуток времени между причиной и следствием тут более вариабельный. Поэтому воздаяние приходит, когда его уже и не ожидаешь. Вдруг Парка завязала узелок, который я нащупал у себя в паху, когда саднящая, ноющая боль стала постоянной. Узелок рос и увеличивался. Врач объявил свой приговор – рак.

Я не очень испугался. Каким-то задним умом я был уверен, что Бог не возьмет мою жизнь, пока я не закончу работу над своей Книгой. Но все то, что мне предстояло, меня сильно угнетало. А предстояла мне операция и последующее облучение. Операция прошла легко, а вот облучение в течение месяца с перерывами было очень тяжелым. Организм страдал и отказывался принимать и удерживать в себе пищу. После облучения я на все лето поселился в своем лесном домике и выдыхал из себя этот кошмар в настоящем на еловой хвое воздухе. Это было первое лето, когда я не поехал в Крым. И именно этим летом я понял принцип построения алгоритмов для моих биоморфов, – Судьба снова вышла мне навстречу после того, как я оплатил свои счета. Зимой в гости приехала Мавка, и наши с нею отношения впервые преодолели страсть. Как жадная ненасытная гусеница окукливается, чтобы из нее вылетела прекрасная бабочка, так и мы налегке двинулись в новый возраст – возраст зрелых чувств.

Вот мы стоим с ней в нашей местной церквушке и голос батюшки размеренно ведет нас сквозь пространство Литургии. Он прост, смиренен и отрешен. А я вспоминаю его молодым, лет пятнадцать назад, когда батюшку донимал бес писательства. Вот ведь фигура судьбы – у графомана и поп оказался графоманом! Он тогда написал такую изящную вещицу в стиле фэнтези, описал ад и бесов и как они готовят козни людям. Распечатал это в нескольких экземплярах и однажды, преодолевая авторское волнение, с деланным безразличием сказал после службы:

- Вот там на полочке, почитайте, кто хочет.

Наверное он ждал откликов. На то он и автор. Но откликов не последовало, и он преодолел в себе эту писательскую слабость – бросил, как курильщик бросает курить, а пьяница пить. Постепенно он окреп и успокоился. И только иногда в его проповеди нет-нет, да и мелькнет живой и точный литературный образ, и тогда проповедь превращается в изящную новеллу, которая надолго западает в память.

Я стою на одном и том же месте, справа впереди возле иконостаса, вот уже двадцать лет. Зачем мне, натурофилософу, это надо? Неужели я не понимаю условности всех этих ритуальных жестов и возгласов? Понимаю, конечно. Но за двадцать лет я понял также, что за этими условностями что-то есть. Бог есть. А что Он есть такое? Анатолий Франс заметил как-то, что псевдоним Бога – это случайность. Бог – это хозяин всяческих случайностей, перед которыми человек беспомощен, ибо человеческая наука

знает только закономерности. А Бог – это «вдруг». «Вдруг» нельзя предугадать, но можно стараться быть готовым к нему, чтобы не пропустить его легкомысленно, когда оно действительно произойдет. Вот этой готовности и учишься в церкви. Поэтому каждое второе воскресенье месяца в любую погоду я иду туда и занимаю свое место, справа впереди возле иконостаса.

Итак, я начал писать Книгу. Шеф знал о том, что я работаю над Книгой и как незабвенный городской Небаба у Ильфа и Петрова никому не позволял «обижать Паниковского». Писал я ручкой на листках, получая удовольствие от самого процесса писания. Я рассчитывал на то, что в компьютер это все перепишет моя безропотная Жена. Она и переписывала, но разобрать мой почерк было трудно, поэтому в напечатанном тексте было много ошибок и его приходилось править, что занимало много времени. А оно и так убегало как песок между пальцами. Я запланировал написать пять глав. Но вот прошел год, а я набросал только один параграф одной главы по физике. За второй год написал еще один параграф. Материал был необъятен, а как писать главу о биологии я вообще не представлял, потому что одними конспектами у меня были забиты все шкафы на работе. Я очень уставал и начал впадать в уныние. У меня подскакивало давление после нескольких часов работы над Книгой и приходилось расслабляться вином. Это я экспериментально обнаружил, что сухое вино с чесноком снижает давление. Ну и оливки тоже не вредят сосудам.

Преодолеть уныние и пессимизм мне помог Моряк. В то время мы уже переписывались мейлом. Он тогда быстро и серьезно освоил компьютерную технику и стал преподавать информатику в открывшемся в Ялте высшем учебном заведении. Студенты его любили и он для них все время придумывал какие-нибудь интересные штуки. Вот он и попросил меня написать серию философских эссе для его студентов, чтобы разместить их в локальной сети их института. Я с удовольствием отвязывался на этих ни к чему не обязывающих меня текстах после приема пары бокалов вина. После каторжного труда над Книгой это был настоящий графоманский отдых. И я за месяц написал десяток эссе на разные темы, которые хотел поднять в своей Книге. По словам Моряка студенты хорошо принимали мои опусы. Мне это льстило. Я увлекся написанием эссе. Тут как раз мой старший сын заканчивал школу, а программа у них по физике была слабенькой, вот я и решил совместить приятное с полезным: начал писать эссе по основным разделам физики и заставлял сына их читать. Думаю, что это ему помогло в учебе.

И вот когда число написанных эссе перевалило за сорок, я подумал: «Какого черта? Мне уже сорок пять лет. Если я не напишу Книгу до пятидесяти, то я ее никогда не напишу, потому что я уже чувствую наступление склероза. Память ухудшается, а такой огромный материал без хорошей памяти нельзя поднять. Нужно самому себе честно признаться, что я начал писать не ту книгу. И если я продолжу ее в таком виде, то я окончательно надорвусь. Нужно использовать опыт моих эссе и начать все сначала, но уже ориентироваться на уровень вот таких любознательных студентов – понизить градус напряжения. А какую книгу я собственно хочу написать? – Такую, какую я сам хотел прочитать, когда был студентом, но какую я так и не нашел в свое время. Вот на это и нужно ориентироваться». Я зашел в кабинет к Жене, склонившейся над моей рукописью перед компьютером, и провозгласил:

- Свободу сусликам! Брось и забудь! Больше не нужно это переписывать, забудь о моей рукописи как о страшном сне. Я начинаю новую книгу!

- ... твою мать, - ответила на это моя тихая Жена, - Пашешь тут пашешь на него как лошадь в горящей избе, а толку-то, толку?

Жена умеет преподнести русскую поговорку с неожиданной стороны.

Но ее «скорбный труд» не пропал даром: я использовал тот текст, который она уже успела набрать в качестве источника для написания нового текста. Писал я уже только на компьютере. Это конечно было гораздо удобнее. Тут мне пришла на помощь Парка: неожиданно Моряк прислал мейлом набранный на компьютере текст моего старого эссе о методе Учителя, экземпляр которого я оставил в Городе, когда уезжал в эмиграцию. Какой-то неведомый мне фанат перевел его в электронную форму (включая рисунки) и теперь я мог использовать его в качестве базы для написания первой главы своей Книги. Все-таки это эссе оказалось тем зерном, из которого выросла моя Книга, как я и задумал когда-то. Я писал каждый день по два часа – на большее меня не хватало, поднималось давление и приходилось осаживать его вином. Потом отдыхал над каким-нибудь очередным эссе. Возраст давал о себе знать: Ахиллесу все труднее было догонять черпаху времени, потому что он сам незаметно становился черепахой. А для того, чтобы снова стать Ахиллесом, я нашел удивительное место, где это происходило со мной автоматически. Это была родина Ахиллеса - Греция!

Греция

Впервые Греция обдала меня едкой вонью солярки от тяжелых камионов, с натужным ревом выползающих из брюха парома на причал. Я спускался с чемоданами в руках по лестнице пятиэтажного дома в стене парома. И вот я на твердой земле. Ночной ветерок унес клубы выхлопных газов и на меня обрушилась теплая и влажная летняя ночь со знакомыми по Крыму запахами субтропической растительности. На фоне звездного неба чернели плавные очертания гор. Все это так напоминало Ялту. Сходство дополнялось маленьким беленым сооружением на краю причала, в котором я узнал сортир до боли похожий на тот, в который я с ужасом заходил на автовокзале в Бахчисарае. И к этому сортиру на веревке был привязан открытый пограничный катер с пулеметной турелью. В пулемет была заправлена пулеметная лента и никого не было рядом. В отдалении в ресторанчике на открытом воздухе сидели пограничники и пили кофе, ветерок доносил оттуда звуки греческой мандалины, обрывки смеха и разговоров. Вот этот бесхозный пулемет и говорил мне, что я не в Крыму, а в какой-то удивительной для русского сознания стране. А в остальном все было родное и близкое.

Греция – это не Европа. Это остро чувствуешь, сравнивая ее даже с Италией, где тоже далеко не немцы живут. Но Греция – это полный Левант: там время останавливается уже с утра, когда все мужчины усаживаются в тавернах, и стоит неподвижной жаркой громадиной до вечера, когда дымы жертвенных мангалов начинают щекотать ноздри языческих богов. Которых вроде бы давно уже нет, но которые выглядывают там из каждого ущелья, из каждого потока, из каждой тихой бухточки. Их покой «крышуют» маленькие белые часовни, на которых держится каждый открывающийся глазам пейзаж. Так и стоит в памяти картина Греции: ослепительно белая часовня в океане синего, голубого и фиолетового – моря, неба и скал. Это рай для художника. Я не могу оторваться от рисования этих пейзажей вот уже десять лет. И каждый новый пейзаж - как новое посещение Греции.

Греция – это Крым, населенный спокойными и приветливыми людьми. Там начинаешь отдыхать как только ступаешь ногой на эту землю. Там нет озлобленности и плохо скрытой агрессии, которые постоянно напрягают тебя в том же Крыму. Здесь люди живут, как они неспеша пьют свой утренний кофе, наслаждаясь вкусом и ароматом жизни. Я еще застал эту патриархальную жизнь приморских деревушек. Однажды утром мы шли на пляж. Какой-то старик, гнавший своих коз на пастбище,

властным жестом остановил моего семнадцатилетнего сына, дал ему пять евро и знаками попросил сбежать в магазин за сигаретами. Потом он обернулся ко мне и спросил:

- Калá?

- Калá, - ответил я. И мы молча наслаждались утренней прохладой, пока сын бегал за сигаретами. Старик поблагодарил и пошел со своими козами дальше. У него ни на секунду не возникла мысль, что незнакомый юноша может отказать ему. Это бы означало, что утром может не взойти солнце.

В Греции демократия. Я это тоже определил как художник по внешним признакам. В деревне, где мы отдыхали, на набережной у моря я увидел такой же беленый домик как в порту и уже было подумал, что это такой же сортир, но потом узнал, что в нем с одной стороны, где должно быть «М», располагается полицейская станция, а с другой – со стороны «Ж», находится комната местной администрации. Это было здание местной власти! И это на фоне двухэтажных особняков местного населения. Я вспомнил о дворцах администрации в России на фоне хибар и развалюх, в которых обитают подданные, и понял, что в России демократии нет. А здесь даже наименование района было не «район Сивоты» или там «район Парги», а «демос Сивоты» и «демос Парги», то есть народ Сивоты и народ Парги. И каждый народ имел свою власть, а не царского наместника.

И эти люди не знали воровства. Я раньше только в книгах старых путешественников читал о таком, а тут увидел сам своими глазами. В глухих безлюдных местах маленькие церквушки стоят с открытыми дверями, внутри них иконы в золоте, позолоченные паникадила и подсвечники, возле входа поднос с горой монет возле свечного ящика и деньги эти никто не ворует. Конечно все меняется и за те семь лет, что я езжу туда, я вижу, что на церквушках появляются замки, особенно в тех местах, которые посещают туристы, - увы, прогресс неостановим. И все же, все же... эту разлитую всюду благодать ясно чувствуешь, уже когда сходишь по трапу самолета.

Особенно меня потряс Крит. Это даже не Греция, это что-то еще более погруженное в пучину времени, в такие его бездны, в которых даже олимпийские боги были еще скромными туристами на этой земле. Я это понял в Кноссе, где посетителям с гордостью демонстрируют первый унитаз Европы времен фараона Тутанхамона. Да и Европы ли? Здесь скорее вспоминаешь о Египте. Вообще Крит – это кусок Африки, который штормами прибило к побережью Греции. Я почувствовал эту Африку в диких зарослях пальм в долине речки на южном берегу Крита, где мы купались. А жители Крита – это совершенно иной вид людей, особенно на фоне туристов. Это гордые, спокойные, молчаливые люди, живущие своей параллельной жизнью, не пересекающейся с суетной жизнью курортов. На Крите не воруют даже машины. Да и куда ты с ней денешься на острове? А хулиганства нет совсем, как и полиции. Зато каждый мальчик в двенадцать лет получает в подарок на день рождения пистолет, с которым не растает всю жизнь. Может потому и хулиганов нет. Зато все дорожные знаки изрешечены пулями – это следы свадебных кортежей, стреляющих в них по пути в церковь. Крит – это горы, фиолетовые от вереска, это ущелья, поросшие фигами и платанами и очень много чистых и ледяных ручьев и речек, в устьях которых колосится папирус и шелестят жестью листьев пальмовые джунгли.

Почему я чувствую Грецию своей родиной? Я понял это в Дельфах. Мы с Женой посетили святилище Аполлона и, уже выходя из него, зашли в музей. Тот оказался закрыт на реставрацию и только несколько экспонатов в холле были доступны для туристов. И здесь я вдруг увидел бюст себя: это был я с отбитым носом и надписью «Неизвестный греческий философ второго века н.э.». Меня как током прошло! Я не мог оторваться от своего портрета.

- Так вот оно что, - усмехнулась Жена, - теперь с тобой все ясно. Фи-и-лософ!
Она произнесла это слово так, как русские хулиганы произносят слово «Ка-а-зел», после чего отворачиваются от такого человека с презрением, даже не дав ему по морде. Для меня это был знак – Парка привела меня сюда, чтобы показать свою прядильную мастерскую.

В Греции я тоже писал, каждый день, во время сиесты. Мы из-за жары днем не ели ничего кроме салата с оливковым маслом и бутылки вина. После чего я усаживался на веранде и, пользуясь тем, что все горластые соседи на пляже, погружался в свои записки. Именно так я закончил последнюю главу своей Книги. Это было на Корфу. Я никак не мог уяснить себе, что такое Абсолют или Бог с точки зрения формы. А Книга была о философии формы и последняя глава посвящена религии. И вот в один прекрасный день Жена взяла напрокат машину, и мы поехали на прогулку по острову.

На самой высокой горе Корфу расположен монастырь, к которому ведет асфальтовый серпантин. Вообще дороги В Греции очень напоминают дороги в России: как будто строители сказали себе «А, ... с ней, доделаем завтра», а на завтра совсем забыли про нее. Так вот, добрались мы до монастыря и подошли к храму. Я взглянул на надпись над входом в него и остолбенел: там было написано «Метаморфозис». Это был подарок Парки! Ну конечно, конечно же метаморфоз и только он может описать Абсолют с точки зрения морфологии, потому что Абсолют – это бесформенное, содержащее в себе все формы. Морфология аморфного – это метаморфоз! Так, не сходя с этого места, я закончил свою Книгу. А метаморфозис по-гречески – это преобразование. Это был храм в честь Преображения Господня на горе Фавор. Мы зашли в него и я поставил свечку перед иконой Преображения.

Во мне жива надежда, что когда-нибудь я снова спущусь по трапу самолета в этот горячий сироп ароматов, и Парка снова поцелует меня.

И время останется в салоне самолета,

который увезет его обратно в Европу,

где оно еще чего-то стоит...

Ясневая поляна

И вдруг Книга оказалась написанной. Конечно не так вот «вдруг», но когда я ее закончил, я этому не поверил. Как? Неужели напряженная, практически каждодневная работа закончена? А дальше-то что? Я ведь уже и не помню себя другим – непишущим. Как теперь жить и чем теперь жить, я не знал. Конечно, я снова возьмусь за кисть – я ведь не рисовал три года, пока писал Книгу. Но кисть – это другое. Я ведь привык время своей жизни измерять буквами – они ее смысл и оправдание. Как же теперь без них?

Я распечатал Книгу, взял пол-бутылки коньяка, блюдечко с нарезанным лимоном и вошел в кабинет к Шефу. Когда он увидел, что я расставляю на журнальном столике, он заметно оживился и переместился поближе.

- По поводу чего? – спросил он,

- А вот, посмотри, - ответил я и указал ему на Книгу,

- Что, неужели закончил?

- Представь себе!

- Э-э, да тут все на русском...

- Ты хоть картинки посмотри, я же треть из них сам нарисовал,
- За это надо выпить! – сказал он, листая страницы. Мы выпили, закусили, и я спросил:
- А ты знаешь, как звали шефа патентного бюро, в котором работал Эйнштейн?
- Нет,
- И никто не знает!
- Это ты к чему?
- К тому, что и твое имя останется неведомым и никто из потомков не сможет помянуть тебя добрым словом, когда будет читать мою книгу,
- Н-да уж..., - протянул Шеф, и мы в задумчивости допили коньяк.

Через интернет я предложил Книгу нескольким русским издательствам, но ответа не получил. Тогда я поместил ее на своем сайте. Так я исполнил свой долг перед памятью Учителя – выполнил свое обещание, данное в душный майский день двадцать четыре года назад. Теперь я был свободен. Конечно свободен настолько, насколько позволяет здоровье и необходимость ходить на службу ради денег. То есть не очень свободен.

Пока я писал Книгу, я незаметно вступил в старость. Старость – это состояние, когда организм перестает вмещаться в тело: целый день с утра до вечера то одни органы, то другие натываются изнутри на тело и жалуются на тесноту, а позвоночник вообще объявил о своем суверенитете от остального организма. Приходится по утрам во время зарядки убеждать и тело и организм потерпеть еще денек, потом еще денек, и еще... и так постепенно продвигаться к своему концу. А може быть, наоборот, отдалять его?

Графоманская ломка после окончания Книги заставила меня вспомнить одно мое эссе по физике, которое я написал в свое время для старшего сына. Я пробовал тогда писать в форме диалога. Теперь мне захотелось вернуться к этому опыту, чтобы найти новый литературный язык для свободного философствования. Дело в том, что мне изрядно надоел строгий академический стиль текста Книги. Но пока я писал ее, я понимал, что это необходимо и терпел. Теперь же меня ничто не сдерживало, и я мог себе позволить литературные шалости. Я начал писать философские диалоги, в которых оживил реальных философов, ученых и богословов древности, вложил в их уста свои мысли и чувства. Потом у меня появились два постоянных персонажа: Я и мой Собеседник. С каждым диалогом Собеседник заметно умнел и постепенно стал моим вторым Я. Так я беседовал сам с собой на протяжении двух лет. За это время вырос мой младший сын и объявил себя гуманитарием. Те философские эссе по физике и математике, которые я писал для старшего сына, были им отвергнуты. Но новые диалоги он читал, и это тоже было стимулом для продолжения такой квазилитературной игры.

Между тем к моему пятидесятилетию мы с Женой купили дом. Это тоже случилось «вдруг». Мы давно искали подходящий дом, но то дом нас не устраивал, то цена. А тут вдруг увидели объявление о продаже прямо на улице возле ресторана. Быстро купили и буквально на следующий день после совершения купчей эта фирма по продаже недвижимости исчезла, как будто она была создана только для того, чтобы продать нам этот дом. Явный перст Судьбы. Этот дом, а точнее – имение, лежит у подножия горы: квадратная поляна старого яблоневого сада в треть гектара, с трех сторон обсаженная вековыми ясенями, с четвертой ее замыкает двухэтажный крестьянский дом первой половины прошлого века. «Ясенева поляна!» А у меня в Университете на первом курсе была кличка «граф!» Граф – графоман в Ясеновой поляне! Это было явным указанием на предстоящее задание. В моем воображении замаячила знакомая фигура с длинной белой бородой и волчьими глазами. Глаза сердито сверкнули, а борода сдвинулась в ухмылке:

- Ну что, слабо тебе написать что-нибудь достойное этого имения?

Я выдержал этот невыносимый взгляд и нагло ответил:

- А то?

Этим летом ко мне в имение приехал Артист с семьей. Я как обычно взялся жарить шашлыки на кострище в саду. Было жарко. От надувного бассейна доносился смех и крики его маленьких детей, дым ел глаза, а душа уже томилась выпить винца. Артист, как человек искусства, сразу попал в точку:

- В таком месте хорошо творить. Что у тебя в планах, давненько ты не радовал меня своими диалогами?

- Теперь я буду писать роман, - ответил я ему вдруг, неожиданно для самого себя.

- Роман? О чем?

- Еще не знаю, но знаю, что он будет называться «Русский графоман». Нет, даже не так, а с твердым знаком на конце: «Русский графоманЪ». И что будет он написан от первого лица, - выдал я экспромтом.

- Как это будет выглядеть? Ну, например?

Я перевернул шашлыки и сощурился от дыма костра:

- Ну, например, конец романа может выглядеть так: «Я сижу на веранде и смотрю в сад. Тень от дома наползает на яблони и черешни и приближается к стене вековых ясеней, обрамляющих сад со всех сторон. Я пью вино. Ясени что-то лепечут в предчувствии ночи. А у меня по телу разливается волна блаженного тепла. Я начинаю слышать то, что звучит только во мне и отвечаю вслух своему невидимому собеседнику:

- А что Лев Николаевич, если между своими, без свидетелей, тет-а-тет, так сказать, как нас литература-то скрутила, а? Да, бросьте Вы, при чем здесь искусство, культура и прочее?! Порок-с, страстишка, так сказать, как у Федора Михайловича, столь нелюбимого Вами, страстишка к рулетке. Порок, не спорте и не обижайтесь – это же правда, чего обижаться? Эта страсть вроде пьянства, которая сама себе и награда и оправдание. Это ведь Вы, Ваше сиятельство, уже потом придумали себе, что все это вроде как во имя идеалов, чтоб, так сказать, моралитэ в общественную жизнь внести. Бросьте! Все мы жители одной и той же сумасшедшей страны – русской литературы...

Еще глоток вина:

- Перед кем оправдываться? Перед теми для кого она пустой звук? – бессмысленно, они просто не поймут нас. А перед теми, кто в ней живет? – да ведь мы же им жизнь даем, если на то пошло.

Глоток:

- Обман!? Что значит обман? А что значит правда? – Вот Вы, граф, трахнули в коморке свою кухарку, увидев ее грязные босые ноги. Это что - правда? И Вы будете об этом писать? Нет, не в своем дневнике, а в романе?

Еще глоток:

- Вот и я говорю, кто осудит Вас, если из этих босых ног рождается чистая любовь Наташи Ростовой? Причем, навека! Для всех последующих поколений, читающих на русском языке. Это и есть оправдание, а вы мучаетесь, все ищете что-то...

Я наливаю еще стакан:

- И правильно сделали, что предали Вас анафеме! Пишется тебе и пиши, и не спрашивай почему да что, – так видно Богу угодно. А ты сразу в пророки! Это же разные профессии... Ты что думаешь, если ты в очередной раз к аскезе призовешь, то босые ноги исчезнут? – Не исчезнут! Будешь их гнать, а они тебе во сне явятся, и ты взвоешь! Как твой отец Сергей... Тоже мне выдумал: «половые органы выглядят безобразно». Если бы это написал не ты, я бы подумал, что это какой-то урод по жизни. Ну откуда ты это взял? – Все прекрасно в человеке, если только он человек, а не просто голая обезьяна. А прекрасней женщины вообще ничего нет. Тут тебе и возразить нечего, тем более без свидетелей.

Еще глоток...

- Надо просто доверять своей судьбе: говорит она – пиши, ну я и пишу. А что последствия? – А просто жить не страшно? Как, не боишься последствий? Вот именно: доверять нужно жизни, она мудрее всех нас...

Еще глоток...

- Грех, говоришь, - а кто тебе обещал безгрешную жизнь? Если хочешь знать, грех и есть содержание литературы. Ты представь себе роман о святом. Что ты там напишешь? Там нет ни жизни, ни литературы. И примем это как факт...

Еще глоток...

- А что награда? Вот тебе не дали Нобелевскую премию за «Войну и мир». И что? Чего после этого стоит ихняя Нобелевская премия? Я вот пошлю этот роман своему другу, а он мне позвонит и скажет: «Ну, ты, старик, даешь!». Вот это и есть единственная достойная графомана премия. А все остальное – суета...

На столе засыхает лужица пролитого вина. День погружает в ночь. Голова моя склонилась на грудь. Стало совсем тихо...»

- А дальше?

- А дальше нужно веранду пристраивать, а то получится неправда. А неправды мне Лев Николаевич не простит... Пойдем выпьем, шашлыки уже созрели.

Два дня спустя я сел за компьютер, открыл новую страницу в Ворде и написал заглавие: «Русский графоманЪ».

Июль 2010 – январь 2011